Николай Фудель

Великий князь Михаил Тверской

РОМАН-ЭПОХА

Исторический роман (Никея)

Николай Фудель

Великий князь Михаил Тверской. Роман-эпоха

«Никея»

1968, 1970, 1978

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Фудель Н. С.

Великий князь Михаил Тверской. Роман-эпоха / Н. С. Фудель — «Никея», 1968, 1970, 1978 — (Исторический роман (Никея))

ISBN 978-5-91761-513-4

Исторический роман «Великий князь Михаил Тверской», написанный Николаем Фуделем в конце 60-х, впервые увидел свет в 1996 году под авторским псевдонимом «Николай Плотников» и под названием «Иго». В центре романа – мощная и значимая в те времена на Руси фигура Тверского князя Михаила, племянника Александра Невского. Захватывающая история противостояния Московского и Тверского княжеств, длившегося два столетия, глубокий психологизм и сила образов, плотность исторических событий создают особую экспрессию и динамику текста, характерную для исторической прозы Николая Фуделя. В издании учтена правка автора, внесенная им в текст романа уже после публикации 1996 года.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-91761-513-4

© Фудель Н. С., 1968, 1970, 1978
© Никея, 1968, 1970, 1978

Содержание

Предисловие 6
Часть первая 9
I 9
II 17
III 26
IV 34
Часть вторая 44
I 44
II 55
Конец ознакомительного фрагмента. 64

Николай Фудель
Великий князь Михаил Тверской. Роман-эпоха

Посвящается отцу Алексию Злобину, настоятелю церкви села Городня на Волге, в доме которого зародилась идея этой книги.

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р16-518-0852

Предисловие
Русь на распутье

(О романе Н.С. Фуделя «Великий князь Михаил Тверской»)

Однажды академик Д. С. Лихачев написал: «Главное, что принадлежало «Святой Руси» – это ее святые, представленные иконами, мощами, памятными местами, источниками, урочищами и предметами, а главное – житиями…»[1]

Жития святых в старые времена никогда не писались с биографическими целями. Они предназначались для доказательства несомненности того, что святость есть плод исполнения христианских заповедей. Святость ставилась в пример и побуждала к подражанию. Вот к чему призывал, например, автор жития великого князя Михаила Ярославича: «*Сего блаженнаго великого князя Михаила Ярославича несть лепо в забвение ума оставити, но на свещнице проповедания оставити, да еси, видящи свет богоразумнаго князя жития, терпения, конечная страсти его, просветят сердца своя умная светомъ немерцаемыя благодати*»[2]. Эти слова можно было бы поставить эпиграфом к роману Н. С. Фуделя «Великий князь Михаил Тверской».

Как правило, историческим романам свойственна насыщенность историческими сведениями, событиями и персонажами. Напротив, Н. С. Фуделя в большей степени интересует психологическая сторона дела: тип мышления, склад ума, мировоззрение главных героев, их реакция на события – общественные и личные. Внутренний мир героев Фуделя – это мир самопознания людей, наделенных правом решать судьбы народов. Стоявшая на великом распутье Русь по воле одного человека – будь то князь или хан – могла пойти по тому или иному пути развития. Останься Тверь русской столицей – и у нашего Отечества была бы совершенно другая история.

Осмыслить историю можно лишь чувствуя время, проникнув в сознание давно исчезнувших поколений, и для этого недостаточно лишь знания документальных фактов или владения стилизованной древней лексикой. Здесь в полной мере проявился редкий писательский дар Н. С. Фуделя – дар, отмеченный тонким знанием человеческой природы, глубоким психологизмом его прозы. Фудель силой таланта как бы «считывает» мысли людей, угадывает внутренний нерв, сущностное ядро личности героя и виртуозно создает целую галерею ярчайших характеров – психологических архетипов эпохи. Диалоги и, главное, внутренние монологи героев написаны так точно, звучат с такой степенью достоверности, что волей-неволей начинаешь безоговорочно верить автору.

Его герои – всегда на распутье, всегда судьбой поставлены перед мучительным выбором: «Я или мой брат?», «Русь или Орда?», «Тверь или Москва?», «Земное или Бог?». Причем, выбор почти всегда смертный – между Жизнью и небытием. Трагизм этой ситуации был очевиден для Н. С. Фуделя.

Первая треть четырнадцатого века – время, которому посвящено повествование, – прискорбное для русского народа. Уже стали забываться имена храбрых князей Юрия Всеволодовича Владимирского, Олега Ингваревича Красного из Рязани, Василька Ростовского, воеводы рязанского Евпатия Коловрата. Уже не на битву с врагами уезжали князья из дому, а за мило-

---

[1] Лихачев Д. С. Святая Русь. В кн. Жизнеописания достопамятных людей земли Русской. М., 1991. С.6.

[2] *«Сего блаженного великого князя Михаила Ярославича не подобает оставлять в забвении, нет, следует его поставить на подсвечник проповедания, чтобы все, видя свет жития богоразумного князя, его терпения, его последних страданий, просветили свои мысленные сердца светом немеркнущей благодати».*

стивым позволением управлять родной землей. И не собирались они вместе в одно войско, а оговаривали друг друга перед ордынскими ханами.

Казалось, народ сломлен и навсегда покорен ханской воле. «Отцы наши, деды, прадеды в Орду ездили, и мы будем ездить, и внуки, и правнуки. Так тому и быть. Ханы не только нас – митрополитов ставят», – размышляет в романе князь Иван Данилович Калита. Кроме того, западные русские княжества все более ощущают на себе католическое давление Европы. Стране требовался сильный и мудрый князь, знающий, куда вести за собой народ. Таковым оказался тверской князь Михаил Ярославич (1271–1318).

Племянник Александра Невского, он по закону и по завещанию стал великим князем Владимирским, получив ярлык хана Тохты. Тверь оказалась объединительным центром центральных русских княжеств. Но для этой цели Михаилу пришлось спасать Русь как от набирающей силу Литвы, так и от принявшей мусульманство Орды. Именно в это время с особой жестокостью вспыхнули ссоры за великое княжение, споры между Москвой и Тверью. Сосед оказался непримиримым врагом.

Н. С. Фудель нашел своеобразный способ подачи материала. Хотя роман посвящен Твери и ее правителю[3], только с середины повествования читатель напрямую соприкасается с великим князем Михаилом. До этого главным действующим лицом выступает юноша, его старший сын – Димитрий Грозные Очи. Воспоминания Дмитрия об отце и любовь к нему постепенно знакомят нас с главным героем, хотя он сам и остается еще на заднем плане. Эта сыновняя любовь уже загодя порождает симпатию к Михаилу. После его гибели в Орде на первом месте вновь оказывается Дмитрий, а затем его брат Александр со своим сынишкой Федором. Перед читателем проходит целая династия тверских князей (пять поколений, включая отца князя Михаила). Они были изведены Ордой за то, что «не знали двоения» и мужественно шли дорогой дедов и прадедов. Для Н. С. Фуделя духовная связь со своим родом естественна и необходима: «Теперь он знал, кто это усмехается, презирая его, крещеного… Он ощущал мысли как погружение…Предки столпились над ним, всматривались пристально, искали терпеливо, наконец, нашли, кивнули удовлетворенно…».

На фоне кровавой борьбы за власть сквозь весь роман проходит другая тема – московского князя Ивана Калиты, пережившего всех героев повествования. Есть и лирическая, видимо, очень дорогая для автора линия: так и не осуществившаяся любовь Калиты к Ольге – свояченице его брата Юрия Даниловича. Она – единственное существо, которое князь обожествляет, а любовь – та соломинка, что может дать надежду на спасение души. Это платоническое и, одновременно, очень сильное своей обреченностью чувство Фудель описывает со всей мощью своего дара, используя все грани данного ему литературного языка, богатого нежными проникновениями и потаенными ритмами.

Глубокая скорбь о потере Русью своей независимости чувствуется с первых страниц произведения. Но если в правление Михаила Ярославича в народе еще жила надежда на освобождение и тверичи били «поганых» в сражениях, то к концу романа народ навеки смиряется с игом. В Москве уже строго наказывают за злоречие против хана. И только у дворцового мечника Федора болит душа: «Сколько еще это терпеть?.. В церквах их поминают о здравии, а куда ни поедешь – могил не сосчитать, люди в рогожах ходят, княжеские роды дыхнуть бояться вслух… Душновато у нас… Так и будет на Руси вечно? Зажирели мы, рабским жирком заплыли. Глаза смежили на все, кроме своего двора».

---

[3] Как указано автором в посвящении, идея книги возникла на тверской земле, в доме нынешнего настоятеля старейшего храма Тверской области – Богородицерождественской церкви села Городня на Волге – митрофорного протоиерея Алексия Злобина. Прежде на месте села стоял древнерусский город Вертязин, в котором мог бывать князь Михаил.

Одновременно с политическим концом Твери завершается и земная жизнь Калиты. Его уставшую душу терзает только одно: «Они – мученики. Михаил, Дмитрий, не отрекшийся…, но почему они живы? Они же умерли, их нет. А они такие живые…».

Страх ли это, раскаяние или запоздалое прозрение – одному Богу известно.

Выросший в религиозной среде, автор наделяет православным мышлением и всех своих второстепенных (русских) персонажей, вводит в роман тексты молитв, описания церковных служб. Да и роман начинается очень необычно: с Божественной литургии в Спасском соборе города Переяславля-Залесского. И эта литургия может быть воспринята как молитва перед началом чтения книги.

Евангельские тексты, молебны, панихиды – без них была немыслима жизнь русского человека и именно в них заложены самые глубокие истины. Не князья, а Бог правит миром! Не случайно одной из первых приведена в романе цитата из Псалтири: «Не надейся на князи, на сыны человеческия, в них же несть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою: в тот день погибнут вся помышления его».

Конец романа весьма показателен и отражает христианское миропонимание автора. Умирает нищий старец Никола Пень, девяносто лет скитавшийся по Руси. Умирает прощенный всеми и простивший всех. И уходящий в вечность. «Тучи не знали, что такое время, как не знают этого кусты, травы, облака или птицы. Человек выдумал время себе на печаль, когда забыл о Вечности. Для Вечности нет времени».

В. Н. Алексеев, канд. ист. наук,
член Союза писателей России

Часть первая
Дмитрий Грозные Очи

Все сии умерли в вере, не получив обетований:, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества.
Евр. 11, 13–14

Ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал считать себя за преступника… Он вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее.
Ф. Достоевский

I

Плывучее пятно прыгало по истертым доскам, которые прогибались под нескончаемыми грузными шагами.

Тела шли тесно, неудобно, спереди и сзади, высоко над землей; пар дыхания искрился по краям.

Надо было только не потерять мутное пятно под ногами, в этом было все дело, и он старательно наступал на него, крепко прижав локти к бокам, чтобы защититься от мороза.

Мороз был густой, равнодушный; огромные снега отделялись от огромной мглы размытой нитью рассвета – там рождался холод. С каждым шагом щуплое тело отдавало холоду крошку тепла, но он в самом нутре сберегал от мороза тепло-пушистый домашний шар сна. Шарсон был вроде макушки Алексашкиной, в которую он уткнулся носом, засыпая сегодня ночью.

Чуть подуло сбоку из рассвета, и в сон грубо вторгся железистый запах наста, кислятина овчины, привкус извести; вскрылись звуки: скрип досок, постукивание каблуков, кашель, побрякивание, посапывание и, как напоминание о голоде и пространстве, недовольное вскаркивание разбуженных ворон. Воронье-воры-вороные… Он сразу ощутил опасность, свои голенастые непослушные колени, костяшки пальцев, проклятую слабосильность мальчишеского тела, подпираемого гигантскими телами воинов-мужей.

Тела впереди остановились, Дмитрий проглотил холодную слюну, запнулся обо что-то и ниже себя узнал детский беличий колпак Алексашки и над ним неохватную спину в старом суконном опашне. Он узнал и этот рыжеватый на сгибах опашень, успокоился, прищурился на пузырь фонаря, услышал из недр опашня:

– Не оступись, княжич, – нащупал ногой крутую ступеньку в каменной стене и заторопился к теплу.

– А чего там? – спросил тонкий голос Алексашки, который пытался вырвать руку у Дедени. – Пусти! Я – сам!

– Не балуй, княжич, – басовито прогудело под сводом, и Дмитрий окончательно вернулся в неудобную невыдуманную жизнь: это был вход на хоры Спасского собора в Переяславле, а шли они только что по тесовому переходу между собором и княжеским теремом. И все это было чужое, чуть любопытное, но более – настораживающее, потому что он не знал, куда здесь пойти и где здесь спрятаться, если…

Теплая мигающая темнота приняла их целиком, с каждой ступенькой приближались огоньки, блики, искры шитья и чеканки, все ближе, понятнее – как дома, как всегда, и Дмитрий отер со щек оттаявшую изморозь, крепко взял Алексашку за руку и решительно пошел через толпу вперед к правому клиросу.

Они стояли отдельно впереди всех – два мальчика в одинаковых кафтанчиках вишневого цвета. Один – повыше, потемнее, другой – пониже, посветлее. Слежавшиеся под шапкой волосы закурчавились в тепле. Люди смотрели на их напряженные тонкие шеи и горящие уши. Мальчики сперва стояли чинно, потом младший шмыгнул носом, завертел головой, глаз его округлился, поглупел от нестерпимого любопытства. Старший дернул его за рукав, но он сердито выдернулся и нарочно еще раз так шмыгнул носом, что стоящий слева через проход Иван Данилович, князь Переяславский, на них покосился.

– Стой тихо! – прошипел Дмитрий брату, и Алексашка на время притих.

Читали часы, шелестел пергамент, один фитиль трещал, не хотел гореть ровно, и стало почему-то неуютно, может быть, от холода, который все-таки остался в груди, где что-то еле заметно тряслось, а немигающие глаза затягивала зыбкая пленка. «Не моргай, а то капнет! – Он стиснул кулачки в рукавах. – Князь смотрит – не моргай!» Ресницы послушались, но стало свербить нестерпимо под правой лопаткой. Он прикусил изнутри щеку, чтобы вытерпеть.

«Пусть мне двенадцатый пошел, а вытерплю, ни на волос, всю службу и молебен, пусть Юрий видит, кто мы, тверские. Кафтан, как у отца (за что он его так ненавидит?), и пояс мать вышивала, матушка (чего она теперь делает?), а ворот – жемчугом, только меча нет (когда мне меч подарят?), да в храм и нельзя с мечом, а разве с ножом можно?..»

Пар изо рта пресекся, а потом выдохнулся длинно: «Ведь у Дедени под опашнем – нож!» Когда на ступени он запнулся, Деденя его придержал, прижал к боку, и там под сукном прощупалась зловещая рукоять. «От кого нож? От Юрия?» Он не мог молиться вслед за чтецом, ему хотелось обернуться и спросить Деденю.

Деденя стоял сзади – за три шага, но даже оттуда редко и щекотно дышал в макушку. «Деденя в одночасье и медведя одними руками заломает», – сказал уверенно старый Осуга. «Почему не мой Осуга со мной поехал, а Деденя, отцов стремянной? Для обороны. Троих поборет. Вот бы мне таким…»

Весь путь от Твери Деденя ехал рядом с санями, до бровей заиндевел, задубел… Грело веки восковым жаром, колебало в ресницах голубую сердцевину язычков, как в костре, а сквозь костер свечей, и дубовую резьбу-листву, и кланяющиеся тени все шире разливались снега, вслед за священным пением – зернистая белизна, твердая от розоватости восхода. Белизна эта была до края мира – до щетинки заозерных лесов, а санный след вился-истончался впереди, а кони бежали ровно, позвякивали, пофыркивали, и пар оседал на шерсть, заиндевелую грубыми пучками, как брови у Дедени. «Озерище-то!» – сказал Деденя с восхищением, и туманом закрыло его веселые глаза. На краю белой безбрежной шири из тихой зари подымались кованые прямые дымки – Ярилино Городище. А справа еще далеко, неразличимо, горбатились валы и грибы заснеженных башен. От мороза слипался воздух в ноздрях, каменел кончик носа, и что-то пело-пело под полозьями неизбежное, печальное, смелое.

Непонятные слова, но вечные, непонятная, пустая от мороза розоватость востока.

«Ты будешь в Переяславле самого великого князя лицом, – строго глядя через эту холодную розоватость, сказал Барма Репнев – воевода Большого полка. – Говори мало, ходи тихо, забудь, что ты – дитя!» Они сидели друг против друга в нетопленной оружейной тверского детинца, мороз проступал на пакле пазов, как соль, и Дмитрий понимал, что он совсем маленький перед вислоплечим хмурым Бармой, который никому никогда не улыбался.

«Дитя!» – Дмитрий с тоской повел шеей, заметил лик апостола Петра и встал попрямее. Алексашка ковырял шитье на поясе, переминался.

– Не вертись – Юрий смотрит! – предупредил Дмитрий.

Но на них давно никто не смотрел. Многие молились, иные разглядывали украдкой лилово-алую мантию греческого епископа Феофила – апокрисария Константинопольского патриарха – или удивлялись: почему служит не митрополит, а архимандрит Ростовский Симеон? Митрополит Петр сидел на горнем месте, в кресле резном против алтаря, и был не по месту и сану утомлен и сгорблен. А Юрия Московского и вообще здесь не было – вместо него был брат его Иван Данилович, который стоял неподвижно, спрятав размышляющий, совсем немолитвенный взгляд. Его-то, не разобрав, принял Дмитрий за Юрия – врага отца.

«Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твои. Лице Твое просвяти на раба Твоего и научи мя оправданием Твоим…

Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою… весь день поучатися правде Твоей…»

Время-молитва текло через каменный куб храма – нескончаемая буро-янтарная река с винно-грозными искрами особых слов, и если смотреть сквозь алтарную преграду на народ, то из сумрачной глубины иногда всплывал бледный треугольник детского лица с большими, налитыми синью глазами. Глаза слушали и темнели:

«Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в них же несть спасения. Изыдет дух его, и возвратится в землю свою; в той день погибнут все помышления его.

Блажен, емуже Бог Иаковль помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшаго небо и землю, моря и вся, яже в них. Хранящего истину в век…»

Вверх, в поющие грозами облака, уплывали и первый, и второй, и третий день творенья; там, в пустынной гулкости свода, узко просветлели утренние прорези, в слоях ладана, как в утреннем бору, подымался, нарастал мужественный хор: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, – и, чуть помедлив, просил сурово: —…помилуй нас!»

Дмитрий забыл давно, как стоит, кто на него смотрит. Он, не думая, отдавался облегчению, он словно ждал, когда из теней и полусвета бытия именно для него скажут *слово,* и радостно услышал чистые прохладно-четкие слова: «…И так Петра стерегли в темнице; между тем церковь прилежно молилась о нем Богу».

Да, вот оно – он знал, что будет, но не знал, что сегодня услышит это. Апостол спал меж двумя воинами, окованный цепями, и было много еще вооруженной стражи, надеяться не на что. Но: «…Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а думал, что видит видение».

Зыбко сдвоились огневые язычки, обмякли суставы, захотелось спать. Дмитрий улыбался, точно очнувшись после болезни ранним утром в матушкиной постели совсем маленьким и совершенно небоящимся и счастливым… Из сна опять Алексашка покачивался рядом, побрякивало, потряхивало, щекотало щеку теплым мехом, лошадь мотнула башкой, фыркнула на зарю оранжевым паром, вехи-метелки уводили из белого в белое, сугробы переливали слюдой, и копыта ломали, месили, отбрасывали тонкое крошево в передок саней. «Не спи, княжич», – вздохнул где-то сзади Деденя, а сбоку завозился Алексашка, и надо было его опять пристрожить, но не хотелось шевелиться.

«Здесь на княжичей никто руку не подымет, – думал Деденя, глядя на мысок волос в ямке под затылком, – переяславцы своево дома не опоганят, да и мы не дадим, а хотели б, так дорогой переимали, да, видно, не по зубам… О чем это я, прости, Господи!»

Он боковым взглядом обежал собранный профиль князя Ивана Даниловича и уставился впереди себя. Иван Данилович щекой почувствовал звериную недоверчивость этого взгляда, но виду не подал.

«А, видно, сильно боится нас Михайло, – подумал он, – вон какого дуролома приставил к сынишкам. А к чему это? – Он незаметно переставил ступни, поклонился на возглас из алтаря и опять который раз стал прикидывать: – Здесь у Михайлы ничего не выгорит. А мы Петру двор новый поставим в Москве, вот хотя бы у Рождества Предтечи, на бору, села дадим, угодья».

Он покрутил тихонько пальцами у пояса. «Может, Михайловское, на Яузе? Нет, Афанасий не даст – это его. Может, Напрудское? Но там гончары, зачем митрополиту гончары, он и хозяйничать не горазд. Нет, ему надо утварь подороже, облачения, хотя бы то, что в Можайске взяли, когда… Крепко ль стережет Юрий Святослава Можайского?»

(Подвал-тайник под башней: свод – кирпичный, двери из дуба и с железом, да оковы ножные, да стража из мерян-холопов: два года стережет беспорочно и – вольная. Святослав и на цепи рычит матерно и по-татарски, и по-нашенски…) Иван Данилович вспомнил этот богохульный рык, испугался, торопливо перекрестился. Не надо бы в храме о таком, но Дело идет, а это – к Делу.

«Можайск, Звенигород, Коломна, да здесь – я: все закроем вокруг, соберем потихоньку. Юрий тороплив, я ему объясню…»

Дело складывалось кусочек к кусочку, как плитки мозаичные под ногами, потрескивало, ползло незаметно, умно, а иногда – безжалостно.

Древнее пение то удалялось, то приближалось, но Иван Данилович не пускал его вглубь. Дело не ждало и здесь, оно уже из него вылезло и теперь само шло, набирая силу, как воз под гору в гололедицу, и надо зорко править, не то раскатишься, и самого задавит. Дело не щадит глупых да ленивых, такой уж наш век. «Все – к Делу», – сказал он, успокаивая себя, и тайно насторожился: у колонны сбоку повернулась седовато-рыжая голова Томилы Ботрина – брата тверского боярина Акинфа, убитого здесь, под Переяславлем, семь лет назад. И не только Акинфа тогда убили, но и его сыновей да зятя Давида. «Я заперся в крепости, а с тыла вдарил на них с Москвы Родион Несторович, дай Бог ему. Своей рукой срубил Акинфа, на копье голову внес через ворота, стряхнул в грязь мне под ноги, сказал: „Вот пес, который на нас лаял! А щенков его – тоже под корень – в болото загнали. Томило остался, но погоди!“»

Иван Данилович прислушался к храму: тишина? Нет, это перед литургией верных. Его чуть подзнабливало.

«А сыновей – зря», – четко, чтобы Бог услышал, подумал он. Битва была в жару, летом, после дождя, в день Федора Стратилата, поэтому, когда помирились, заложили на том лугу церковь, а сейчас в народе ее так и зовут – Федоровская, но, думается, не только ради святого мученика, но и ради другого Федора – сына Акинфа. Говорят, кричал он из болота, молил, но Родион велел бить его стрелами. «Зря», – еще раз прошептал князь, потому что каменные своды поплыли от торжественного:

«Иже херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение…»

Дмитрий встал на колени, когда все кругом встали; он не дыша слушал негромкий голос в алтаре и старался не слышать: наступило таинство, то, на что нельзя смотреть грешникам, как на неопалимую купину.

«…Не опалиши мя приобщением:

Огнь бо еси, недостойныя попаляяй».

Всю литургию Иван Данилович упорно старался не думать о делах житейских, но оно, Дело, лезло само в него, и он только того добился, что заморозил его на время, но молиться тоже не смог.

Когда запели: «Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи…» – он разрешил Делу течь в голове, расслабил немного спину.

«Да исполнятся уста наша… – повторял счастливо Дмитрий, глубоко вдыхая сосновый дымок и сыроватость камня. – Соблюди нас во Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа…»

Он не чувствовал ни ног, ни рук – только глаза и сердце, которое стало огромным, ровным и добрым.

Иван Данилович потер подбородок. «Все – к Делу. Не Божья ли то воля? Вот прислали они Томилу Ботрина (я бы не прислал) переяславцам на радость, ему – на позор. Он, говорят, как солома – только сунь уголек…»

Иван Данилович чуть не усмехнулся, но привычно пресек мышцу губ, нарочито посуровел, прислушался: обедня отходила. «Теперь перекусим – и на Собор. Успеют ли столы и скамьи поставить, ковер не забыли бы для грека… А холодно здесь будет сидеть, лучше б у Благовещенья, как всегда зимой, но там тесно и нет той лепоты – все деревянно…»

Он стоял, не шевелясь круглой сутулой спиной, сплошь затканной золотистой нитью.

Дмитрия словно кто-то медленно опускал из-под купола на пол, поставил нежно и твердо, он очнулся, вздохнул и заметил, что Алексашка притих: «Спит стоя!» Но, пригнувшись, увидел, что брат смотрит широко, серьезно – молится, и устыдился.

«Господи, – сказал он, – помоги, чтоб он меня слушал, спаси его – он ведь маленький такой… Он дитя, а я – старше… А еще помоги, Господи, мне быть везде, как здесь – не бояться, хотя я никогда не боюсь, но *этого, его*, прогони *его*, Господи, и ночью тоже… „Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его!..“ Ведь отец даже *этого* не боится, помоги и мне, я хочу, как отец…»

Он увидел сильное, но чуткое лицо отца, умный лоб с глубокими залысинами, сеточку морщин под выпуклыми испытующими глазами. Не словами, а всем напряжением зрачков, воли Дмитрий о чем-то тайном попросил, отчаянно перекрестился и зажмурился. В темноте мелькали, плавились огоньки, кружочки – зеленые, синие. А в храме наступило ожидание.

Епископ Ростовский Симеон, служивший литургию, вышел на амвон, поклонился и сказал, слегка запинаясь:

– Братие! В сей день Церковь вспоминает честные оковы апостола Петра, о котором слышали: «И цепи упали с рук его». На кого он мог уповать в темнице, во дни всесильного Ирода? На кого можем уповать мы ныне? Иные мнят, что мир можно лукавством или мечом ставить. Отнюдь! Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Не мечом ироды посрамляются. Первоверховный Апостол смирением своим одержал победу, ибо уповал только на одного Христа. Вспомним и мы заповедь Его: «Мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам». Аминь.

Симеон замолчал, потупился от волнения и еще раз поклонился народу. Слышно было, как за стенами – в иной жизни – каркают на березах вороны. Потом по толпе прошел соблазнительный шумок: это была не умная долгая проповедь, которой следовало ожидать сегодня, а нечто вроде краткого напутствия, неприличного при патриаршем посланнике и князьях. Да и в напутствии был дерзкий намек: кто из нас при ханах мечтает мир добыть мечом? А хоть бы и мечтали, но не вслух же говорить с амвона.

Ирод не дремлет! А может, это Симеон о междоусобиях? Но и это не к месту. И тверичи, и москвичи переглядывались недовольно.

Только митрополит Петр, приподняв голову, посмотрел на Симеона странно, точно впервые увидел. Но никто этого не заметил.

На западной стене, над выходом из храма, сидели апостолы на престолах, а сзади них стояли прямокрылые ангелы. Они судили мир. «Иди вперед, княжич, иди ровно», – сказал Деденя, и Дмитрий вспомнил, зачем он здесь: будет церковный Собор, и на нем тоже будут сидеть митрополит, епископы, игумены, а также князья, и он, Дмитрий, будет «лицом великого

князя всея Руси», а совсем не тощим мальчишкой, каким он иногда со стыдом видел себя со стороны.

Он вышел из духоты и зажмурился: морозным солнцем колко ударило в ресницы и в ноздри; по снегам рябило желтым, алым, черным от разных одежд, ломило глаза от блеска броней и сосулек. К полудню отпустило немного на пригреве, и синий день был неподвижен, высок, будто в марте; празднично звонили-перезванивали колокола; голоса перекликались ясно и бодро.

От собора по стенам разметенной дороги в два ряда стояли воины со щитами – тверичи против переяславцев, в нежданной дружбе. Дмитрий искал знакомых, но под низкими налобниками все лица казались одинаково бесстрастными, обветренными, белоглазыми.

А шествие текло: впереди митрополит, благословляющий народ, потом духовенство, князья, бояре – к гриднице, срубленной еще Всеволодом Большое Гнездо, который всем им был одним отцом.

Гридница уцелела еще с батыевых времен, только крыша обгорела да дубовые столбы шатрового входа бронзово закоптились. Обгорело более шестидесяти лет назад при набеге темника Неврюя, когда еще убили посадника Жидислава и княгиню Ярославну, а детей ее увели к Сартаку.

Но Дмитрий этого не знал, а народ – забыл, потому что сейчас крышу завалило снегом, и так плавно, красиво плыло из собора шествие знатных и нарядных, мудрых и праведных на церковный Собор, чтобы в мире решить о мире и прекратить рознь навсегда. Сегодня, в зимний день 1309 года, впервые так шли все вместе во главе с митрополитом – тверичи, москвичи, переяславцы, ветви одного корня – Александра Невского и брата его Ярослава Тверского. Многие в народе улыбались, даже стража щурилась добродушно. Здесь все до последнего холопа знали, отчего пошла злая рознь между Тверью и Москвой: Иван Дмитриевич Переяславский, внук Невского, завещал Переяславль Даниилу Московскому вопреки роду, через голову великого князя Тверского. Но сейчас один Иван Данилович это не то чтобы вспомнил, а по привычке, с молоком впитанной, ощущал как настороженность и сухость.

Били-гудели-бренчали в солнечной изморози городские и заозерные выси; Дмитрий, забыв о степенности, поднял голову; ветки дуба с необлетевшими кое-где ржавыми листьями так густо опушило инеем, что небо за ветками из сини переходило в глубокую лиловатость, и там, у тропы в Царство Небесное, переискривались тончайшие морозные нити. Он улыбнулся, так все было необыкновенно, так первозданно чисто: ядреный вкус наста и дерева, скрип шагов, этот дуб, ледяная бахрома под кровлями, чей-то тоненький голос, торжествующий взахлеб: «А я варежку потерял! А я варежку потерял!» Он знал, что это Алексашка дразнит, но не мог рассердиться. Легко, раскованно шагая за епископом Андреем, он вдыхал и выдыхал сильно, ровно, так, что студило зубы и пощипывало веки, и все улыбался.

Недалеко от входа в гридницу, на чистом месте, сутуло, недвижно сидел кто-то на мохнатом коньке, и Дмитрий мимоходом удивился: на княжеский двор верхоконных не пускали. Он вгляделся, сглотнул, замедлил шаг; колокола, яркость, синева, галки, снег, сосульки – все чуть заглохло, обесцветилось тоскливо: это был монгол.

Из-под лисьего малахая монгол смотрел мимо всех; скулы его лоснились, маленькая рука свободно держала повод, лисий хвост свешивался на синий шелк чапана, одетого поверх бараньей шубы. Мохнатая лошадка как вкопанная стояла, опустив морду; шерсть струпьями обледенела на брюхе, в нечесаном хвосте запуталась соломина.

Все это Дмитрий рассматривал, чтобы не смотреть в равнодушную доску лица. По синему чапану видно было, что это именно монгол, настоящий монгол, а их за всю жизнь Дмитрий встречал лишь несколько раз, хотя просто татар, всех этих кипчаков, калмыков, ногайцев и прочих нехристей, – десятками.

А это был, верно, кто-нибудь из ордынских князей-нойонов – посол или знатный баскак.

«Чего ему надо? Вот возьму и посмотрю в глаза!»

Но он не смел, и знакомое бессилие толкнуло гнев, гнев подымался, освобождал, горячо затоплял, прихлынул к щекам и прорвался наконец через расширившиеся зрачки: Дмитрий вздернул голову и глянул под малахай, под надбровья.

Хищно, неуловимо метнулся навстречу твердый зрачок и мгновенно встал на место, спрятался в припухшей узкости. Плоскоскулое лицо осталось бесстрастно-презрительным, только нижняя губа слегка оттопырилась.

Монгольская лошадь раскорячилась и стала мочиться; желтая струя разъедала чистый снег.

Дмитрий скованно прошел мимо, в темноте сеней ощупал зачем-то грудь под шубой: хлипко, сорвано стучало там, не смирялось, болело. «Родимчик, – сказал он губами, – родимчик…»

В столовой палате рассаживались, переговаривались оживленно. В глубоких мисках дымилась горячая уха; стерляжий жир плавал блестками поверху. Резко запахло конской мочой, паутинной пленкой затянуло свет, людей и вещи – все стало скучным, одинаковым. Дмитрия затошнило. Он отодвинул хлеб, поставил локти на стол, сцепил пальцы так, что побелели костяшки. Никто не должен знать, что с ним.

– Ешь, княжич, до вечера далеко! – сказал кто-то ласково, но он не слышал ни голоса, ни хлюпанья Алексашки, который рядом, обжигаясь, хлебал густую стерляжью уху.

Когда последние спины важного шествия скрылись в полутьме сеней, монгол чуть мотнул огромной головой, и один из его нукеров отделился от стены, неслышно подъехал сзади.

– Кто этот мальчик в лазоревой шубе? – спросил монгол, не оборачиваясь.

– Сын тверского князя Дмитрий, – ответил нукер, улыбчиво оскаливаясь по привычке. Он подождал немного и, ловко пятя лошадь поводьями, отъехал обратно к стене.

Монгол все стоял по-прежнему, не шевелясь, хотя у него покусывало скулы и мерзли пальцы в сапогах: он ждал, когда разойдется челядь, чтобы народ не подумал, что он, Арудай, посол золотоордынского джихангира Тохтая, стоял здесь из пустого любопытства. Что ему, монголу и нойону, в том, как кучка урусутских попов будет спорить за лучшее место. Он все уже знал и так: еще на Воре его догнал гонец московского баскака и передал суть дела. Но Арудай хотел потом доложить джихангиру, что он увидел собственными глазами. Хотя здесь он пока ничего не увидел интересного, кроме темного немигающего взгляда этого мальчишки. Арудай прищурился на снег, но взгляд этот не пропадал: из белого расширялись, наливались глубинной синей угрозой недетские глаза на бледном треугольнике худенького лица. Недетские, недрогнувшие, даже и нечеловеческие, а как у ночных мангусов, которых нельзя убить.

Арудай задумчиво посвистел. Дело было не в их ненависти или дерзости: этого он навидался вдоволь, и даже у детей. Дело было в том, что они не пропадали. «Может быть, он умеет напускать порчу? – Арудай ловко сплюнул между ушей лошади, проследил, как плевок леденеет на солнце. – Огоны, предки предков, Огоны из Онона и Керулена! – молился Арудай. – Великий Кам! Великое синее Небо, Великая черная Мать! Очистите меня от ушей и до живота, от живота до пяток. Я принесу вам барана в Ростове, от каждого питья, от каждой еды, от каждой женщины…» Он спутался, забыв вторую часть заклинания, и еще раз тонко сплюнул впереди себя. Нить слюны, зацепившись за мех наушников, закачалась, твердея на холоде, но он ее не заметил. «Я забыл молитву, потому что ее *не пустили* его глаза». Арудай дернул повод, и лошадь рванула, выровнялась, пошла иноходью, сошла на шаг.

– Это старший сын Михаила? – спросил он толмача-уйгура, когда они медленно ехали к баскакскому подворью через торопливо расступавшийся народ.

– Старший, – ответил уйгур негромко и оглянулся, хотя здесь вряд ли кто-нибудь понимал по-монгольски. «Говорят, он похож на отца», – хотел он добавить, чтобы выведать мысли Арудая, но не решился.

Они проехали только площадь – до ворот переяславского баскака Картахана рукой подать. Баскаки жили на княжеском дворе еще по указу Менгу-Тимура, внука Бату-хана. «Уши и глаза джихангира», – звали их, и Арудай это хорошо знал. Поэтому, хотя по роду он был выше Картахана, соскочил с коня, не доезжая до крыльца, и, косолапя, прошел оставшиеся десять шагов.

С этого крыльца хорошо была видна соборная площадь, но Арудай нарочно выехал сегодня с нукерами, чтобы лишний раз напомнить урусутам, что это запрещено всем, кроме монголов. И сейчас он был бы совсем доволен, потому что видел, что урусуты поняли его, если бы не боялся заболеть после странного немигающего взгляда этого взрослого ребенка. Ему хотелось бы выдавить эти темные глаза на снег, но он боялся, что они и оттуда будут испытывать его, жить.

После обеда Алексашка запросился на двор и пошел с Деденей. Чей-то щенок увязался за ними. В бревенчатом тупике у вала стояли в сугробах бочки со смолой, и там Алексашка стал возиться со щенком – отнимать у него варежку. Щенок притворно рычал, прижав уши, тянул, упирался, Алексашкахохотал, кружился с ним, размешивая сыпучий снег, а Деденя терпеливо ждал.

Щенок оторвался от варежки и упал на бок, смешно перебирая толстыми лапами. Алексашка похлопал его по голому нежному пузу, взял на руки, и щенок быстро, благодарно облизал ему нос, глаз, подбородок; щенок был серый с белым, а пятачок – черный, холодный, а язык – горячий; Алексашка запустил пальцы в плотный, как войлок, подшерсток, ощутил, как бьется маленькое собачье сердце.

– Пора, княжич, пора, – бубнил Деденя, – уже в собор пошли, вон и бояре тронулись, брось пса!

– Мой, мой пес! – кричал Алексашка, смеясь.

Он обхватил щенка поперек, пронес несколько шагов и рухнул с ним в сугроб. Там он возился, рычал на четвереньках на щенка, а тот трепал его за шапку.

Деденя поднял Алексашку и стал выбивать снег из шубы. Капли таяли на раскрасневшихся щеках Алексашки, он облизывал их, отбивался. До самого собора щенок бежал за ним, и Алексашка упрашивал его не гнать.

II

В Спасском соборе было холодно, но светло; сквозь солнечные столбы прозрачно пылали толстые свечи, тлели нити в бисерном шитье. Было чисто и необыкновенно от черного – монашеских одежд, белого – снега в окнах, алого – княжеских ковров на плитах. И от холода высоты под куполом.

Такого дня еще не было в Переяславле.

Дмитрий сидел на хорах с мирянами, на западе. А на востоке по храму рассаживались на скамьях епископы. Бесшумные тени пересекали цветные фрески: тени от свечей – тонкие, дрожащие, тени от окон – голубые, прохладные, – все они лучевидно сходились в круг в центре собора, и Дмитрий смотрел, как они перекрещивались, скользили, а потом замерли, и сам он замер.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! – И тени разошлись из центра, взмыли – все встали и запели: – Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи…

Пели все: митрополит, послы патриарха, монашки-писцы, – и от этого все стали равны. Черное и белоснежное, седина и золото— Дмитрию казалось, что поют святые: все лица стали одинаково вдохновенно-строги.

Потом все сели, и это пропало, и тени опять собрались в центр круга, а одна – длинная и густая – перечеркнула их, головой достала до порога; на амвон вышел высокий лилово-золотистый грек с траурными глазами. Сзади него бледно-огненной бахромой колебались свечи, и, когда он поднял руку, тень метнулась по своду. Грек развернул свиток с печатями, поцеловал его и звучно возгласил по-гречески:

– «Хиэротате метрополита… хюпертимо, агапете ката кюрйон адэльфэтэс хемоя метриотетос кай сильсюллейтурге шхарис эй екай эйренэ пара Теу киеротети». («Преосвященный митрополит… возлюбленный по Господу брат и сослужитель нашей мерности, благодать и мир от Бога да будут с твоим сиятельством…»)

Дмитрий закрыл глаза, чтобы лучше понять музыку эллинской речи: в багровой темноте под веками она текла равномерно, бронзово, в ней звучала красота древности, не наше, тайное византийское богатство. Даже Алексашка перестал ерзать – тоже слушал кимвальный речитатив послания, посапывал тихонько. В нем еще лежал, свернувшись клубочком, теплый молочный щенок с нежным пузом, и от этого было Алексашке покойно, как дома.

– «Послание Афанасия, Патриарха Вселенского и Константинопольского, митрополиту Киевскому и всея Руси Петру и князю великому всея Руси Михаилу…» – провозгласил грек по-русски.

И Дмитрий открыл глаза: посол патриарший начал читать верительные грамоты:

– «…Озабоченный миром и согласием всех членов Церкви, долженствующих быть единым телом, а с тем вместе стараясь уничтожить соблазны…»

В черных жестких волосах грека чуть пробивалась проседь, щеки, точно прокопченные, западали ямами, брови сдвинуты неподкупно. Но читал он что-то длинное и скучное:

– «…По совету об этом деле с состоящими при нас преосвященными архиереями… и с согласия на то святаго моего самодержца, который избрал епископа Халкидонского Феофила, а также дикеофилакса нашей Святейшей Великой Церкви, нарочитого мужа кир Георгия Педрика, диакона, людей благоговейных, имеющих знание священных канонов и заслуживающих доверия, и послал их на Русь апокрисариями для произведения расследования по делу…»

Дмитрий сдержанно вздохнул. Из узкого окна-проруби зимний луч пересекал гулкую полудрему, высвечивал внизу знакомое, непроницаемое сейчас лицо епископа Андрея и дымным пятном уходил в серебро подсвечника. Дневной луч был бледен, но свеж и понятен.

– «…И они должны, прибывши на Русь, созвать тамошних боголюбивых епископов, а также благороднейших великих князей…»

«Почему греки – и созвать нас? Вот и созвали; вон Андрей и Симеон Ростовский, а этого я не знаю, а вон игумен Никитского, я его знаю. А это кто? А вон князь, и я – тоже князь, все мы, хорошо, что созвали… Так прекрасно, что все мы… Откуда этот плащ? Деденя шубу принял, а эту накинул – я эту в дороге не накидывал. Это для собора? Матушка, наверное…»

Дмитрий кутался в новый суконный плащ – алый на куньем меху.

– «…По окончании расследования, которое должно производиться апокрисариями беспристрастно, как перед очами Самого Бога, пусть составлена будет удостоверенная запись о всех пунктах этого дела, дабы, когда наши апокрисарии вернутся, состоялось соборное решение, согласно с божественными и соборными канонами.

В утверждение сего и издано настоящее соборное деяние, занесенное в соборный кодекс месяца января 19 дня 6819 года».

Дикеофилакс Греческой Церкви Георгий Педрик свернул свиток, и тени – серые и голубые – опять задвигались по стенам, а люди переглянулись и расслабились. Только епископ Андрей неподвижно смотрел на серебряное пятно, в которое впитывался дневной свет, словно ждал оттуда неизбежной беды, и Дмитрий на расстоянии ощутил это как некую неподвижную нерешенную тяжесть, неуместную в этом святом и прекрасном соборе.

Крепкие, как лесные орехи, глаза Андрея ни разу не сморгнули, у скулы затвердел желвачок. Это маленькое затвердение выдавало в Андрее его литовское лесное упорство. Руки, сильные, короткопалые, были сложены на коленях, свечи высвечивали золотистую щетинку. Мелькнула отогревшаяся муха, села на правую руку, поползла по розовому шраму – от большого пальца под рукав, но рука не сдвинулась. Дмитрию захотелось согнать муху, он знал от отца об этом шраме: давным-давно литовский князь Довмонт бежал от своих во Псков, а потом из Пскова напал на своих и пленил тетку свою Евпраксию, мать Андрея. «Тогда ему было, как мне, двенадцать, а он мать мечом защищал, и руку ему рассекли! Да, мне бы меч, и я бы…» Потом Андрей вырос, крестился и стал епископом, а мать его ушла в монастырь, а отец – князь литовский Герден – так и погиб некрещеный, язычником, – убили его новгородцы в сече.

Именно за это еще больше любил Дмитрий Андрея. «Литву и татары боятся», – подумал он с завистью, разглядывая крепкую широкую руку, по которой все ползала муха.

…Паутинная жаркая мгла в небе, тусклые перезревшие травы, печет затылок. Мухи ползают по бесстыдно заголенной спине, по белой коже. Кони косятся, пылит зловонно пылью, пересохло в горле, но противно вздохнуть. Тела этого при дороге нельзя ни отпеть, ни закопать. «Поднял руку на воинов Великого и Непобедимого!» – кричали бирючи на торгу в Кашине. Маленький страх – голый сморчок-человечек с крысиным хвостом – протухал у Дмитрия за пазухой, отравлял все до поднебесья, как гриб-домовик. А когда рука тянулась его выбросить, разрастался нелепый ужас. «Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его!»

Господи, всегда ОН все испортит!

Дмитрий тряхнул головой, муха снялась, улетела мимо света в темноту. По-прежнему что-то читал грек, от горячего воска отпотевали стены, голос одиноко бродил в пустоте сводов:

– «Богом прославленному и благочестивому сыну духовного нашего смирения Михаилу, великому князю всея Руси».

– Про что это он? – обернулся Дмитрий к Борису Норовитому, ближнему советнику отца, но тот только сморщил брови, отмахнулся: «Погоди!»

Алексашка дремал, уронив голову, Дмитрий нехотя ткнул его локтем. Брат встрепенулся, поморгал, улыбнулся.

– А как назовем его?

– Чего?

– А как щенка назовем? Моего.

– Сиди, не ерзай.

– А я знаю – Буяном!

– Сиди, на шепчись!

– А как ты…

– Сиди, Александр! – подражая отцу, сказал Дмитрий. – Не то как выйдем, я тебе!..

– «…Донесли к нам послания-грамоты твои, слышал есм и вси митрополиты и святители нашего Собора…

Понеже митрополит Петр много сотворил без закона, ибо мзду емлет за ставление в архиепископы, узнали мы от писаных грамот твоей, сына духовного нашего, и по грамоте благочестивого епископа Андрея. Однако дабы без пристрастия расследовать сие дело о святокупстве, послали на Русь апокрисариев наших…»

Стало тихо в огромной каменной пустоте. Морозный день синел в окнах высоко, недоступно, а потом родился где-то шепот, ропот, и загудело голосами-обрывками, клочьями посыпалось, как мусор с потолка, на лица епископов, напряженно-изумленные, желто-огненные от свечей, лиловато-белые от дневного света. Стукнула на хорах опрокинутая скамья, прорвалось:

– Святокупство?!

– Да как он дерзнул!

– А что – если правда?

– Тихо, бояре, тихо!

– «Продавать благодать Святаго Духа – на это есть гнев Божий, а по святым канонам – и отлучают, и проклинают, – возвысил бронзовый голос диакон Георгий Педрик, и говор примолк. – …Егда соберется Собор, и разберет, и обсудит, то митрополит или исправит клеветы на себя и чист будет, или другого поставим, кого восхочет боголюбство твое, великий князь, мужа, прославленного добрыми делами от всех людей…»

Дмитрий с ужасом глянул на митрополита: Петр сидел спокойно – грустный, сцепив худые пальцы на посохе, смотрел в пол, туда, где пересекались все тени. А тени метались, спрашивали, не находили ответа.

– Понял, княжич? – шептал сзади Норовитый. – Митрополит серебро за место давал, а наш Андрей его обличил. Понял?

– Нет! – тихо сказал Дмитрий и так посмотрел, что он смутился: с треугольного личика будто все стерли, кроме огромных глаз, а кожа посерела, пошла пупырышками.

Среди мирян все нарастал безобразный шум, и тогда епископ греческий Феофил встал и так стукнул посохом, что вздрогнули свечи. Его полное лицо посмуглело, влажные красивые глаза оживились негодованием.

– Мы, апокрисарии Вселенского Патриарха, рассмотрели это дело со вниманием, – сказал он негромко, властно, и шум затих. – Дело это возникло от грамоты инока Лавры Святой Богородицы монаха Акиндина к великому князю. Монах тот был послан в Константинополь и оттуда отписал. – Он повернулся к Андрею: – Кир Андрей! Грамоту ту мы читали, и дела в ней немного, а имеешь ли ты, помимо грамоты сей Акиндиновой, что еще обличительное и достоверное? Ибо, – тут Феофил предостерегающе поднял руку, – дело сие тяжкое, и каждое слово взвешено будет не только здесь, но и на Страшном Судилище Господнем!

Многие с простодушным любопытством следили, как гладко грек выговаривает русские слова, но иные хмурились, а Дмитрий остудившейся потной спиной ощутил, как оживает за ним на западной стене Страшный Суд. Апостолы на престолах под сенью ангельских дружин, трубы архангелов, от которых разверзаются гробы, и земля и море отдают своих мертвецов, а ниже – сквозь щели – огнь адский, неугасимый, и руки грешников, и мерзкие безглазые тени, вынюхивающие добычу… И все это опоясывало толстое тело великого змия, который тоже ждал, что ответит епископ Андрей.

Он отвечал медленно, ставил слово на слово:

– По жалобе монаха Акиндина, великого князя порицающего за молчание, я, как пастырь, поставленный чистоту беречь, отписал Вселенскому Патриарху, и грамоту мою ту вы читали. В ней все есть. – Он сделал вдох, словно на грудь что-то налегло. – А кроме не знаю свидетельств по этому делу.

Андрей сел, подставил обветренное лицо дневному лучу; его светлые глаза застыли на митрополите.

– Благослови, вдадыко? – встал игумен тверского Отроч монастыря Игнатий. – Подать для мзды собирали в Галицком княжестве, оттуда Петр и прибыл, по указу князя Юрия Львовича, по семь гривен с попов и клирошан по приходам.

Иван Данилович жадно прислушивался. «Узнать бы, что этот Акиндин написал князю. Грек говорит – мало там дела». Но спросить он не смел.

– Прочтите Собору послание монаха Акиндина великому князю, – возвысил голос епископ Феофил.

Послание читали долго. Свечи начали чадить. Акиндин дерзко, безбоязненно упрекал великого князя за попустительство, требовал открытого осуждения митрополита. Дмитрий негодующе встрепенулся от слов:

«…Молчишь, боясь осуждения, хотя видишь растущую ересь и тем можешь способствовать богоненавистному обычаю продавать и покупать непродаваемую благодать Духа Святаго! За сие дело верховный Апостол, как говорится в Деяниях, Симону-волхву непокаявшемуся сказал: „Серебро твое да будет на погибель с тобою“».

Письмо Акиндина читал рыжеватый курносый и робкий монашек. Он краснел, стыдясь слов, обличающих Петра, голос его западал. На него неловко было смотреть, но Дмитрий смотрел с угрозой, когда монашек читал про его отца. Акиндин предостерегал:

– «Разумей, державный князь, яко из-за ослушания божественных канонов святых апостолов все зло приходит на нас. – Здесь чтец перевел дух, в голосе его послышалось страдание. – Не пали ли сильнейшие мужи наши под острием меча? Не преданы ли были любимые дети наши в полон, в нечистые руки язычников? – У епископа Андрея под клобуком сузились зрачки. – Не осквернены ли были святыни наши мерзостью запустения? («Что же это?» – шептал Дмитрий. Ему стало тоскливо). Да, были они поруганы живущими вокруг нас народами, которые надсмеялись над ними…»

По собору повеяло холодком тления, многие опустили головы, даже Иван Данилович перестал на миг злорадствовать, но от следующих слов воспрянул:

– «…Повелевает тебе Господь, господин княже, не молчать о сем святителе твоем, митрополите Петре. Ты – царь, господин княже, в своей земле, и будешь предан на истязания на нелицемерном Судилище Христовом, если смолчишь о беззакониях митрополита».

Иван Данилович подавил усмешку: слишком хорошо складывалось его Дело, даже не верилось. Великий князь не стерпел слов Акиндина и через Андрея обвинил митрополита перед патриархом – не быть теперь Михаилу с Петром вместе! Он с нетерпением следил, как слова, точно грязные камни, летели в лицо Петра, и ждал, когда лицо это не выдержит и исказится.

А Дмитрия начал душить ворот рубахи, и он оттягивал ворот пальцем и уже не понимал слов, которые перечисляли, угрожали, оскорбляли, сыпались, отнимали воздух. «Не надо!» – проговорил он беззвучно, скрипнул зубами, увернулся над самым срывом в бессмысленную трубу вопля и оказался в соборе в волнах гула, шепота, чада, ладана и сырого пара от многих людей. «Да, тогда на дороге из Торжка это и началось, Господи!»

Свечи на четверть прогорели, тени стали длинней, в центре собора на полу колебалась от теней круглая решетка, а в каждой клеточке ее – кусочек его самого, Дмитрия. Он ничего не понимал, он все потерял. Случилось то, чего он боялся утром: он упал и разбился на кусочки, а меж ними шевелился беспомощный червячок…

Епископ Халкидонский Феофил говорил что-то медленно, важно, но Дмитрий с трудом разбирал:

– …Много в послании ревности о вере, но мало истинного свидетельства. От излишка ревности возник соблазн. Пусть же теперь духовный брат наш боголюбивый митрополит Петр ответит на все, ибо нет больше свидетельств на него, кроме слов запальчивых…

Митрополит Петр вздохнул коротко, стал вставать, но тут сверху, от мирян, гулко крикнуло:

– Есть, есть свидетельство! – И кто-то шумно вскочил.

Все узнали Томилу Ботрина, брата убитого переяславцами Акинфа. Седовато-рыжая голова его будто искрилась.

– Андрей смирен, – яростно заговорил Томило, – он молчит, да мы не смолчим. Дайка сюда!

Он взял из чьих-то рук лист пергамента и, запинаясь с непривычки, зло краснея веснушчатыми щеками, стал читать:

– «…Шубы, аскамитом и бархатом крытые на меху куньем, а всего – пять. – Томило загнул толстый палец. – Соболей по сорока – две вязки, да бобров – две по десять, да горностаев – пять по десять, да белки серой – по сорока пять, да хомяков столь же… – Он все загибал пальцы – рук не хватало. – …Да утвари церковной и прочего узорочья всего гривен на…»

Изумление переходило в смешки, кто-то из москвичей прервал:

– Хомяков! Чего лезешь с хомяками! – Но Томило только отмахнулся, вытер потный лоб, радостной скороговоркой завершил:

– «А на том выход брали с попов галицких, как Игнатий показал!» – Он торчал, огромный, рыжий, щеки его рдели пятнами. – Вот, владыка, список, а прислала нам его княгиня Юрьева. Она не солжет, сама из Твери!

Бас его грохотал под сводами беспутной телегой, толстые губы ухмылялись. Томило перевел дыхание.

– Не скроешь! – почти кричал он митрополиту. – Галицкие-то давно с латинами перемигиваются, но мы сей дух на Русь не пустим!

Губы у Петра стали медленно бледнеть: это был открытый намек на измену, на сношение с Римской курией через галицких униатов. Он посмотрел на Андрея: только литвин, хорошо знающий методы Рима, мог заронить такое подозрение в простых людях. Глаза Андрея поднялись навстречу со скрытой борьбой, по одеревеневшим морщинам от носа к жидкой бороде разливалась розоватость.

– Сядь! – тонко крикнул Дмитрий Томиле, и богатырь-боярин изумился, но сел.

Эхо от Томилы еще перекатывалось под сводами, когда встал переяславский князь Иван Данилович. Фео-фил запрещающе поднял руку, но митрополит тихо, твердо попросил:

– Пусть и они скажут, хоть то и противно канонам…

Иван Данилович поклонился.

– Прости, владыка, и вы, святые иереи, – скрипуче заговорил он. – Хоть нам, мирянам, невместно здесь говорить, но мне, как хозяину, молчать невмоготу, когда срамят в святом храме владыку всея Руси. И кто? – Он со стороны слушал, как сухо, точно горошины в пригоршнях, пересыпаются его круглые, взвешенные слова. – Срамят языком кусачим, как во хмелю на торгу. – У Томилы стала малиново наливаться шея. – Прикажу страже, как господин, буянов из собора вывести. Всем ведомо, что не языком на брани побеждают.

– А тебе, Иван, – закричал Томило, уже до волос багровея, – твой-то язык мы в ином месте вырвем!

Иван Данилович только пожал плечами: смотрите, дескать, пес лает – ветер носит, а не его ли брата мы под этими стенами спесь укоротили?

Томило оттолкнул скамью, шагнул, его схватили за локти. Он вырвался, лапал себя за пояс – искал оружия, многие тоже повскакали, позорный шум разрастался, какой-то монах смотрел на свалку с ужасом, по-детски раскрыв рот.

– Братие! – жалобно взмолился он. – Что вы делаете! Бога побойтесь, братие! Святыня оскверняется – побойтесь!

Все узнали игумена Спасского монастыря, престарелого Прохора. По морщинам его текли мелкие слезы. Многие смутились.

– Бояре, князья, цвет наш, страшно сие, страшно! – Иван Данилович сел, за ним – остальные. – Яму себе, яму… – Прохор задыхался. – Прости, владыко! – оборвал он, поклонился поясно митрополиту, закрыл лицо дрожащими пальцами.

Стало совсем тихо.

Апокрисарий патриарший Феофил отмахнул широкий рукав, перекрестился. Его полное, доброжелательное лицо отвердело, горели черные глаза, колыхалась лиловая мантия.

– Кто церковный Собор нарушит, да будет отлучен, проклят! Сие не суд, а Собор, суд же над митрополитом только на Вселенском Соборе. А здесь и половины нет ваших епископов – Новгородского нет, Псковского, Рязанского, Сарайского и иных. Молчите, миряне, или стража очистит от вас храм! – Феофил шумно дышал. – Говори, брат наш во Господе, митрополит Петр!

Петр встал и сказал только Андрею, словно они были наедине:

– Все то правда, Андрей, что ты писал, но нет в том святокупства, как ты мыслишь. – Он помолчал грустно. – А шубы и прочее получил я от князя Юрия не за мзду. И отдал их в дар Киевской лавре, а мне они ни к чему, Андрей. – Он посмотрел вверх на синеву за оконной щелью, потом на всех сразу. – Но вот, братие, тяжко мне на сердце: не лучше я Ионы-пророка, и когда такое волнение из-за меня, то прогоните меня, и волнение само собой прекратится.

Крепкие, пристальные глаза епископа Андрея стали больными. Но он не опустил их, а Дмитрию стало так жаль его, что он обернулся в поисках помощи и наткнулся на прищуренный профиль князя переяславского. Белые пальцы с перстнями прикрывали рот, сейчас они сжались, вцепились в губы: Дело, которое так удачно отстраивалось – кирпичик по кирпичику, – рухнуло. И от этого холодная ярость задергала губы, а он перемолол ее челюстями, стиснул и стал вытягивать нить-мысль: «Если Петр уйдет, то Михаил своего Андрея поставит. Но Петр не уйдет – это он так, для виду». И Иван Данилович почти успокоился. Но остальные были в волнении.

– Что ты, владыка! – не выдержал игумен Борисоглебского монастыря Николай, родич дальний Ивана Даниловича. – Нельзя уходить, смута будет, пожалей Русь: в такое время – и смута? Время-то страшное, – добавил он тихо, и в его привычном к проповедям баритоне обнажился дрожащий страх.

Это одно – страх – уловил сейчас Дмитрий. Полоса дневная дробилась тенями, и сам он дробился, рассыпался, метались, искали зрачки, нашли точку ледяную, уперлись, расширились: «В такое время, такое, такое…» – повторялось где-то, как в подземелье.

Эхо шушукалось под сводами, босые ноги опять месили сыпучий порошок снега, печатались розовые вмятины: мальчишка брел по обочине; он держался за низ живота – это из него капало в снег, а лицо странно оставалось равнодушным, глупым по-обыденному, только глаза опустели, словно их ветром выдуло. Никто из пленных не смотрел на мальчишку, смотрели под ноги, а Дмитрий хотел не смотреть, но не мог, и его затошнило.

Он сидел в возке рядом с матерью, княгиней Анной, – они возвращались с богомолья через Торжок. Вокруг столбами стояла княжеская охрана и так же беспомощно, как шестилетний Дмитрий, смотрела на дорогу, по которой татары Таир-хана гнали новгородский полон.

Татар этих привел князь Михаил Андреич за то, что вечевая чернь избила в Новгороде его бояр.

Была поздняя осень со снегом, торчала щетина жнивья, знобило сереньким ветром, а из-под туч тускло-желтым закатом обливало лица, дорогу, снег, поля.

Татары гнали полон. У одного татарина на выпуклой голой груди нарочно была распахнута овчина, проезжая, он скалился в глаза княжеской охране, с издевкой поцокивал коротким синим языком. Мальчишка споткнулся, татарин толкнул его лошадью, не глядя, опоясал плетью. Мальчишка упал, и тогда в Дмитрии тоже что-то упало, и он закричал тоненько: «Бейте их, бейте!» Но мать зажала ему рот ладонью, и он укусил эту любимую ладонь. Тут это и случилось первый раз: его втягивало в огромную темную трубу, он задыхался от беззвучного вопля, но труба не кончалась, только где-то очень далеко серел глазок неба, и он знал, что, если не хватит воздуха для крика, он не выберется из трубы никогда.

Это называлось, как сказал потом Осуга, «родимчик» – порча в крови от дурного предка-родича, припадок бессмысленного ужаса.

Второй раз это случилось с ним на торговой казни, а третий – чуть не случилось сегодня в соборе. Самое главное, чтобы об этом страхе никто, даже мать, никогда не узнал. Только гнев освобождал от страха, радостное: «Бейте, бейте!» – горячая струя из груди в голову и через глаза – наружу. Гнев – грех, но гнев – свобода.

Но здесь сейчас не могло быть даже выбора – все разбилось, одни лики икон остались незыблемы: ведь если и Андрей не прав, то где же правда? «Все равно я люблю Андрея!» Он вытер лоб, натянул мех плаща на шею, оглянулся, понял, что прошло много времени.

Изможденный высокий грек, дикеофилакс Вселенской Церкви Георгий Педрик, читал заключение патриарших апокрисариев. Сзади него все так же голубой бахромой пылали свечи, и от этого впадины щек казались ямами, а траурные глаза – бездонны.

– «По эдиктам императоров Византийских, Богом возвеличенных самодержцев, и по канонам Вселенских Соборов, всякий архиепископ, ставимый на митрополию Поместной Церкви, вносит в казну лепту, установленную оными эдиктами в размере… Оная лепта идет на устроение Божиих храмов, на вдов и сирот. А собирается лепта как доброхотное деяние по приходам той епархии… и не превышает размера, указанного… А епископ Киевский, ныне митрополит всея Руси Петр, все по закону исполнил и внес не более установленного, а по сему канонов соборных не нарушил и чист перед Богом и людьми и в святокупстве не виновен».

По собору прошло движение, но Дмитрий понял одно: значит, Андрей не прав?

– «Тем же, кто такую вину на святейшего митрополита возлагал, оправдаться ревностью по чистоте Церкви не можно, ибо они, кто писал, по месту своему и сану должны законы церковные знать… Есть и на Руси по приходам на лепту при поставлении епископов о сборе серебра грамота митрополита Кирилла ко князю…

И мы, апокрисарии Афанасия, Патриарха Вселенского и Константинопольского, дело то разобрали и прекратили, дабы не было соблазна в чадах матери нашей, Церкви Христовой, а разбор – была ли та жалоба по недомыслию или клевета – постановили отдать на суд митрополиту всея Руси Петру, его же то епархия и власть и милость…»

Диакон Георгий Педрик кончил и свернул свиток. Все в ожидании смотрели на митрополита, а Дмитрий – на епископа Андрея, который сейчас встанет и крикнет: «Нет, не так!»

Но ревностный и бесстрашный литвин, епископ Андрей, не крикнул этого, а сполз со скамьи на колени, поднял измученные глаза на Петра и чужим голосом попросил:

– Прости, владыко, об эдиктах не ведал, прости ради Христа! – И еще, поборясь и поглуше: – Отпусти меня в монастырь с епархии совсем – недостоин…

Дмитрий вскочил, за ним шумно встали тверичи, но Петр остановил их рукой и сказал, не отрывая взгляда от Андрея:

– Иди паси овец своих, Андрей, вижу тебя, мир ти чадо, не ты бо се сотворил, но диавол.

И улыбнулся облегченно, будто они были одни с Андреем с глазу на глаз.

Выходили из собора молча и сразу окунались в мороз, в лилово-искристую тень от башни по сугробам. Солнце свалилось за вал, только по краю стены золотилась прощальная кайма да дымчато розовел соборный шлем.

Выходили и приостанавливались, удивленно, как впервые, слушали снеговую тишину, похрустывание льдинок; вдыхали-выдыхали до ломоты зубов, облегченно распрямлялись.

Из всех печей белели на закате прямые дымки: ночью ждали еще мороза, топили по второму разу.

Щенок узнал Алексашку и с радостным визгом стал скакать на него, Алексашка присел, щенок облизал ему нос, повалился на спину, подставил беззащитное пузо, заболтал лапами.

Они возились на самом краю лиловой тени, ничего не нарушая, а люди стояли и смотрели на них вниз, улыбаясь, ни о чем не думая, и все остановилось на миг в тишине снега, теней, вечера, ребенка, щенка и тончайшего запаха цветочного сена, раструшенного у коновязи.

Дмитрий первым – не слухом, а всем телом – уловил глухой слитный топот; чей-то животный визг смахнул благодушные улыбки, топот вырос, обрушился из-за угла, смял разум, и все завертелось в шквале копыт – гривами, зрачками, белками, храпом, паром, оскалами, малахаями, копьями, плоскими скуластыми лицами.

– Уррра-гх! Уррра-гх!

От боевого клича монголов – кошмара детства – пятки примерзли к земле, никто не успел сдвинуться, только ошметки летели в глаза да било по ноздрям конским потом.

Оборванный щенячий визг – и Алексашка бросился под копыта. Дмитрий хотел крикнуть – изо рта вырвался писк. Кто-то отшвырнул его в сторону.

Бешеная мохнатая груда наметом свернула на Ростовскую дорогу, прогудели доски под мостовой башней – и все.

На растоптанном снегу лежал на животе Алексашка, прижимая раздавленного щенка. Спины закрыли его, и Дмитрий закричал всем нутром:

– Алекса-а-а-а-а!!!

Деденя, зверски наморщившись, нес мальчика на руках на крыльцо. Дмитрий подбежал. Брат смотрел странно, резче выделялись веснушки, но вот он моргнул.

– Жив он, живой! – закричал Дмитрий, и тогда все закричали что-то, загудели.

– В дом, неси в дом его! – приговаривал кто-то.

Иван Данилович стоял и смотрел на Ростовскую дорогу. От стылой ярости и стыда у него натянулась кожа на щеках, побелели ноздри.

– Озоруют у тебя, князь, татары, – сердито сказал Борис Норовитый. – Еще малость – и княжича стоптали…

И выругался, точно отхаркнулся.

– Это посол ханский Арудай на Ростов отъехал, – медленно, тускло ответил князь. – Это его сотня.

В проулках густо чернело от испуганного народа, в чистом холоде далеко перекликались голоса, к собору, на ходу опоясываясь, сбегались ратники. Подошел сотник городовой стражи, погладил усы, косясь на тверичей, спросил князя:

– Чего это Арудай? А?

– Запирай на ночь, Тимофей, – буднично ответил Иван Данилович. – Да пошли кого народ успокоить: ничего нет, дескать, пошутил Арудай. Пошутил…

Ему трудно было говорить – все не отпускало горло.

«В Орду писать на Арудая? Ничего сегодня не ладится… Чего я тут торчу? Пора б уж и знать их. Написать – им же на смех…»

На крыльцо вышел Дмитрий.

– Ну, как Александр, княжич? – громко, спокойно спросил Иван Данилович. – Не зашибся?

Но Дмитрий смотрел не отвечая, а глаза его не мигали, наливались темной глубиной, втягивали в себя безжалостно, странно.

– Не зашибся – перепужался, – ответил кто-то из толпы.

В тишине остывали, густели снеговые тени, хрустально гасла кайма по западному валу. Иван Данилович повернулся и пошел прочь. А Дмитрий все стоял на крыльце, смотрел на то место, где был князь. Стали зябнуть коленки, поддувало под шубу, он вдруг страшно устал, ссутулился. Скрипели шаги расходившихся людей, только Томило Ботрин переминался у крыльца, повторял сквозь зубы: «Кусать боится, так хоть нагадить, нагадить, собака, собака!..» – пока его не одернули за рукав.

III

Иван Данилович проснулся от страшного сна, которого не мог вспомнить. Он лежал на спине и смотрел в тусклый сосновый потолок. Временами грызла где-то мышь, подхрапывала в промежутки жена. Он чуть отодвинулся от ее мягкого бедра, выпростал руки на грудь из-под одеяла, вмял затылком подушку Он знал, что теперь не заснет. «Скоро ль развиднеется?» Но чувствовалось – не скоро. «Кого ж я видел?» Кого-то он видел знакомого во сне, но никак не вспоминалось. «Кого ж я боюсь так?» Он не мог вспомнить ни одного человека, которого он боялся бы так, как во сне этого. Сны надо помнить, чтобы потом разгадать – если верно разгадаешь, можно извлечь пользу. Для Дела… Если ты князь, государь, то княжество, государство – главное твое дело. Дело, тело… Да! Дело, как тело, тело – государство, тело болеет – и государство болеет. Да, что мне полезно, то и государству, что мне вредно, то и… Но вот толкнули Дело, и оно рассыпалось, а я не сплю. Двое церковных государей забыли, кто они, забыли свое государство – Церковь сильную и стали как юродивые на паперти: один покаялся, а другой простил. Кто бы мог ожидать такого? В чем им-то тут польза? Иван Данилович сверлил вопросом темный потолок, не мог понять ничего.

«Андрей повинился и все потерял, и теперь ему митрополитом не бывать, это хорошо, но для него глупо, а Петр его простил, и это плохо – надо было на слове поймать и с епархии снять своего супротивника. Простил – тоже глупо. А я все свое Дело потерял! – ожесточенно сказал Иван Данилович. – Все из всего для себя пользу извлекают. Это – закон, суть человеческая. А они из этого какую пользу извлекли?»

Колесо опять замкнулось и пошло вертеться, рябить спицами-мыслями, но ничего не сдвигалось, не прояснялось, только злило и болело. И больше всего то, что он, мудрый, опытный, не может разгадать Петра и Андрея. «Лицемеры! Польза-то им есть. Но в чем?»

Жена повернулась во сне, положила грузную ляжку ему на колено, он осторожно выпростал ногу, чтоб не разбудить. «Она-то всегда извлекает свою пользу – ей только дорваться до постели, устал я или не устал, восемь лет живем, а не привыкну: такая до плоти жадная баба, а любви нет, а и что такое любовь? Вот Юрий любит черненьких, половчанок, а я – русых, моя Елена везде русая, а что толку Женился для Дела, терплю – для Дела, не сплю – для Дела. Один всегда. Так и помрешь и не оживешь. А может, оживешь?» Ему стало зябко, тоскливо – вспомнился вдруг сон: баскак переяславский Картахан, жирный, серо-желтый, сидел в ногах постели и улыбался, а сам мертв и тлением тронут.

Иван Данилович выпростал руку, перекрестился. В сосновом тереме было холодно. «Всегда самому за всем смотреть надо – опять недотопили». Если думать о другом, мертвый Картахан начинал таять, исчезать. «Вот и все сам, а Юрий делает что хочет. Вон разозлил его Константин Рязанский, он не моргнул – велел убить. Константин у нас еще при отце в оковах сидел два да после отца три, а всего пять лет, а Юрий… Чего хочет – то и делает. Нет, врешь! Не что он хочет, а чего я хочу! – ясно и с радостью подумал Иван Данилович, но тут же смутился. – Господи, Константина я убивать не подбивал, – сказал он тусклому потолку, честно округляя глаза. – Я тогда молод был, боялся этого». Честность его успокоила. «А для Дела, может, Юрий и прав: замахнулся – так бей до смерти. Вон и монголы учат – выкорчевывай до корешка, а то снова прорастет. Как это мне Картахан прошлый раз читал из ихнего писания, из Ясы Чингисхановой, забыл я…

…Почему-то они имя Чингисхана вслух не поминают, а мы Бога поминаем где надо и не надо, чем-то мы богохульней татар, может, это оттого, что они своих богов, бурханов-бесов, видят иногда и боятся, а мы никого не видим, я не видел, хотя пишут, что угодники видели». «Кого видели?» – спросил чей-то насмешливый голос в нем, и он застыл. Шея напряглась, краем глаза видел он, что там, где на стене висело платье, будто стоял кто-то серый, длинный и

смотрел вниз насмешливо на них с женой. Иван Данилович хотел перекреститься и побоялся: а вдруг зашевелится мертвый Картахан? Он стиснул зубы, заставил себя протянуть руку и в ожидании ужаса и безумия пощупал ткань. На стене висел шелковый легкий кафтан для пиров, и больше ничего. Но озноб не проходил. «Может, ночью Картахана убили тверичи, а мне мерещится?» Это была глупая мысль. Хотя… «Пойду посмотрю». Как это – ночью, к самому баскаку и без дела? «Пойду скажу: напиши хану про баловство Арудая. Чуть не стоптали сына великого князя, чуть не навел на Переяславль все войско тверское. Что было бы, если бы стоптали мальчишку? Если сейчас, ночью, пойду, то Картахан поймет, что важно, испугается, напишет. Да вон и светает вроде». Глухо брезжило оконце, пропели первые петухи в слободе. Иван Данилович сел и стал было натягивать штаны, но одно воспоминание его задержало: «А ведь они, монголы, и впрямь видят своих богов».

Ему было девять лет, и была поздняя, черная осень, когда отец взял его в первый серьезный поход: в набег по ханской грамоте на этот самый Переяславль. Отец – Даниил Московский – шел с войском Андрея Городецкого, который тогда боролся за великий стол с братом своим Дмитрием.

К Переяславлю подбирались с востока. Впереди рыскала конница Оккодай-хана. На речке Шахе у лесного брода татары разбили хлебный обоз с Юрьев-Польского. По сему случаю устроили ночью пир на Волчьей горе у Берендеева.

Оккодай пригласил князей. В войлочной походной юрте пили по-монгольски сперва кумыс. Деревянная чаша-аяк, вырезанная из березового наплыва, ходила безмолвно по кругу. Потом пили пиво и мед из добычи.

Оккодай-хан захмелел, распахнул верблюжий халат, по грязной груди струйки стекали за цветной пояс, монгол непрерывно тщеславно ухмылялся.

– Ваш Бог слабый, – говорил он Андрею Городецкому, – потому и вы под нами, и все люди. А великий каган, знаешь? Под его пятой народов – считай не считай. Так? А почему? Потому наши боги многа-многа и сильный, а ваша Бог – один. А? Так? Мы своих видим, а вы своего нет. Так?

Андрей Городецкий, сын Александра Невского, сидел на кошме по-татарски, угрюмо смотрел на груду углей. Он не ответил.

– И вы своих богов не видите, – не выдержал Даниил Московский.

Оккодай поднял палец:

– Не видим? Видим. Сейчас покажем.

Это Иван запомнил.

По хлопку Оккодая в юрте расчистили место, расшевелили жаркие уголья. Тогда Иван заметил старичка в лисьей шубе мехом наружу. Мех был вытерт местами до мездры, а рукава по локоть засалены. Старичок-азиат, голобородый, с вывернутыми веками, смотрел в огонь бессмысленными выцветшими ледышками, перебирал в пальцах какой-то мохнатый шнур. Бритая голова его иногда кивала, точно в такт речи, которую он сам себе с кем-то неслышно вел.

Угли медленно гасли. Темно-багровые лица глядели из черноты розовыми белками; шаман стал ударять бубном о землю вокруг себя, не вставая, ловко поворачиваясь; безногая тень его кривлялась по сторонам, морозная земля дребезжала, гудела, отзывалась утробой. Прошло много времени. Потом Иван заметил, как на чистое блюдо выложили кусок вареного мяса и осторожно подвинули к шаману древком копья. Он, не переставая бить о землю, нагнулся, обнюхал мясо и вдруг так крикнул, что у Ивана волосы поднялись на затылке.

Шаман сидел, воздев костяные голые руки, и дрожал мелко, непрерывно, как лист под ветром, а из ночных туч сверху вернулся его крик, проник сквозь отверстие юрты, расслоился на отдельные крики-голоса, зааукался отовсюду и, завихряясь, уплотнился над очагом в дымную шерстистую фигуру, большеголовую, грудастую и безногую, как каменные бабы в степи.

Баба медленно втягивалась в уголья, истончалась, и голоса стихали, уходили в жалобный вздох, погасли.

Иван помнил это и через двадцать лет.

Старикашка лежал, как мертвый, уткнувшись в золу. А на блюде вместо вареного мяса была собачья окоченевшая голова.

До коновязей шли в темноте, спотыкаясь, Андрей Городецкий то чертыхался, то крестился, Даниил вел за руку сына, молчал. Когда подсаживал Ивана в седло, сказал:

– Чего трясешься-то? – А у самого руки тряслись. И это Иван запомнил.

Он сидел сейчас совсем один в простывшей опочивальне, хотя рядом похрапывала жена. Серая дорожка от окна высвечивала голые колени. «Да, сам видел… В старину и у нас, говорят, чародеи силу имели, могли тебе дать что хочешь. Да и сейчас, говорят, есть. А что мне надо? Великое княжение? Через Юрия и Михаила – до звезды ближе! Я и сейчас князь, и город мой крепче Москвы. Власть? В чем блаженство человеков, если Бога нет?» – подумал он исподтишка, но остро, серьезно.

Тоска по-прежнему томила, но он к ней давно привык. «От тоски я и стараюсь, строю, устраиваю все, – сказал он себе прямо и усмехнулся. – А зачем? Нам, москвичам, великими князьями через тверских все равно не бывать: крепки старые законы». Он покачал головой: этой ночью он как бы обнажился перед собой, все сказал тайное, а облегчения не было. «В чем блаженство человеков?» Стало так скучно, что он встал – надо было что-то делать немедля. Это он тоже испытал.

«Пойду к Картахану».

Он на цыпочках босиком дошел до двери, приотворил, толкнул спящего холопа:

– Ступай к баскаку, скажи: князь сейчас будет по важному делу. Да чтоб никто не видал! – приказал шепотом.

Потом бесшумно оделся, изо всех сил стараясь совершенно ни о чем не думать. Даже о том, как бы не разбудить Елену, которая была ревнива и не верила, когда он отлучался ночью по государственным делам.

Тайным лазом, через задний двор и конюшню, князь Иван Данилович прошел к боковой клети баскаковского терема.

Смахивало поземку с крыши, вроде бы брезжило, но от этого казалось еще темнее, безнадежнее.

В теплой избе на кошмах сидел разбуженный нукерами баскак переяславский Картахан и старался скрыть беспокойство в своем жирном, щекастом лице.

Иван Данилович толково, сухо объяснил ему, что может выйти из дерзости Арудая, и стал равнодушно рассматривать узоры на бухарском ковре.

Картахан долго ничего не отвечал, поперечно наморщив лоб, вертел у пояса толстыми пальцами, раздраженно следил, как рабы вносят столик с кубками и блюдом холодной баранины.

«Мои кубки и мед – мой», – подумал Иван Данилович.

Картахан поцокал языком и кивнул на поднос, приглашая. Но князь не хотел ни есть, ни пить.

«Хоть он и монгол, но не кровный: кровный не станет с вина начинать, а с кумыса, и не станет из наших кубков пить, и не станет пальцами вертеть. Вон у Юрия баскак, Кадьяк, – второй жены Тохтая племянник, – тот истинный нойон, чингисид, сразу видно».

Иван Данилович притворно зевнул, взял, пригубил кубок, чтоб не обидеть, и сел опять прямо, неподвижнее Картахана.

Наконец старый баскак сложил кончики пальцев и сказал:

– Бог на небе и Тохтай-хан над всеми землями – храбрость Божия. Не знаю я, что напишу великому и непобедимому из рода чингисидов: его глаза не должны утомляться безделицей и женскими сплетнями. – И он важно и хитро прищурился.

– Это не сплетни. Я сам это видел, сам и напишу в Орду, – спокойно сказал Иван Данилович.

– Пей, – предложил Картахан. – Я тебе верю, князь Иван, я тебя шибко люблю. Вот посмотри лучше.

Он достал из-за пазухи горсть серебра – монеты-лепесточки с арабскими плетеными письменами – и высыпал на кошму. Иван Данилович взял одну, повертел в пальцах – таких он еще не видывал. Картахан наблюдал за ним с удовольствием.

– Это нашего царства монета – удела Джучи, – сказал он. – В Сарае, в Золотой Орде, чеканили. Вот, читай: «Сарай богохранимый, 710 год гиджары». Вчера Арудай подарил. – И он доверительно улыбнулся, но глаза остались недоверчивыми. – Нам все купить можно, а не продашь – отнимем! – Он засмеялся, хлопая себя по коленям, – то была чисто монгольская шутка.

Иван Данилович вежливо улыбнулся, тихонько потрогал себя за бороду.

– Скажи, Картахан, вы, монголы, все народы захватили и всю мудрость их узнали, а сам ты много повидал на свете. Скажи: в чем блаженство человека?

Голос, вначале равнодушный, к концу чуть изменился.

Монгол сразу стал серьезен, склонил голову, заглянул князю в глаза, понял, что не из-за Арудая пришел Иван ночью, а из-за этого вопроса, и успокоился. Его толстощекое сальное лицо стало грустным, проседь на подбритых висках – заметнее.

– Только правду скажи, – тихо попросил князь.

Картахан прикрыл выпуклые веки, долго покачивал круглой шишковатой головой.

– Блаженство человека? – переспросил он и глянул в упор: из щелочек смотрела черная тоска. – Слушай, что сказал священный Воитель Вселенной своим нойонам, когда они спросили об этом.

Монгол достал китайский ларец, инкрустированный прорезной костью, бережно вытащил прошнурованный ветхий свиток, прочитал медленно, с остановками: – «Наслаждение и блаженство человека состоят в том, чтобы подавить возмутившегося и победить врага, вырвать его из корня, взять то, что он имеет, заставить вопить служителей его, заставить течь слезы по лицу и носу их, сделать живот и пуп жен их своей постелью и подстилкой и сладкие губки их сосать».

Картахан убрал свиток, замкнул ларец.

– Вот, урусут, что есть блаженство человека, – сказал он устало. – Слушай и помни! Это – Яса, закон Великого Воителя. Это – истина. – Он помолчал, добавил задумчиво: – Великий не боялся истины…

Рот монгола привычно улыбался, но в щелочках под веками тоска сгустилась, затвердела, как черный вар, и Иван Данилович почувствовал, что и его глаза затвердевают от такой же тоски. Они сидели и смотрели долго, не двигаясь, все больше понимая друг друга, становясь в чем-то одинаковее.

– Я всегда со вниманием слушаю каждое слово вашего мудрого родоначальника, – сказал наконец князь и встал.

Когда он выходил, старый монгол не повернул головы, он по-прежнему смотрел перед собой, тень от его круглых плеч горбилась на стене.

«Ни он, ни я, никто не будет писать хану, – думал князь, спускаясь с крыльца, – хорошо, когда хан не вспоминает о нас».

Он шагнул в мглистую рассветную стужу. Низко нависало серое небо, шаги были вязки, трудны, но к этому он, как и все, давно привык.

Дмитрий как упал в подушки, так и проспал, не двигаясь, на одном боку, обняв брата. А когда проснулся, увидел, что Алексашка сидит на постели в желтой блестящей рубахе и смеется, на что-то показывая пальцем. Он хотел посмотреть туда, но не мог, потому что лицо брата хоть и смеялось, но было таким же напряженным, как в соборе, когда он смотрел на человека в огне. На лбу у него играли огневые отсветы, и пришлось напрячь волю, чтобы они исчезли, но дрожь не прекращалась, и тогда Дмитрий прижал брата, ощутил его маленькое трясущееся тело и понял, что Алексашка плачет во сне. Он заглянул ему через плечо: да, Алексашка спал, а по щекам ползли слезы. Дмитрий потряс его, и он открыл мутные глаза, поморгал.

– Где мы?

– Не знаю. – Дмитрий подумал. – В Переяславле мы. Ты чего ревел?

– Я не ревел.

– Смотри: весь обревелся.

Алексашка провел по щеке, лизнул мокрую ладонь.

– Не знаю… Я не нарочно.

Горницу к утру выстудило, прохладно дышалось старым деревом, печным угольком. На снежное оконце сели пепельно-розовые снегири; было чисто, сухо, не хотелось вылезать из-под мехового тепла на пол, не хотелось никого видеть.

– Давай еще поспим, – предложил Дмитрий.

– Я есть хочу. – Алексашка вытер нос. – Я со-он какой видел! – сказал он нараспев.

– Какой?

– Тако-ой чудный! – Он смотрел на розовые пятна зари и молчал.

– Какой же?

– Матушку, – неохотно ответил Ал ексашка. – И его…

– Кого – его?

– Буяна… Но он живой был.

Епископ Андрей встал, как всегда, рано, прочел утреннее правило и стал ходить взад и вперед – от окна к двери. Ему хотелось поскорее уехать к себе в Тверь, но он знал, что сегодня это невозможно. Он ходил, повторяя про себя: «Господи, помилуй», чтобы избавиться от ненужных мыслей, но они не пропадали. Вчера он оказался неправ, но все равно стал счастлив, а сегодня опять что-то смутно.

«Если раб не больше господина своего, то не только патриарших указов о плате на становление я должен слушать, но и Петра, Петр и сам, видно, этих эдиктов не ведал, когда…»

Ему стало еще смутнее: он вспомнил взгляд Петра. «Нет, это от лукавого все во мне… Но Юрий Галицкий все равно к униатам расположен, правильно писала мне княгиня Юрьева. Петр же был у Юрия духовником… Нет, Петр мне свою душу открыл вчера, нет, он униатов не пустит. Вчера в соборе была истина во мне, а не здесь сегодня… Помилуй мя, Боже!..» Он сказал это вслух и смутился: не услышит ли келейник за дверью, но никто там не пошевелился. В узкой оконнице голубовато заискрился снег.

Андрей надел шубу, валенки, поискал и не нашел теплые рукавицы и, мягко ступая, вышел. Келейник спал на полу на тулупе, на столе стоял жбан с водой. Андрей отпил из жбана, толкнул тяжелую дверь на двор.

Ночью заволокло и отпустило от западного ветра, мело по срубам легким снежком, то открывало, то закрывало рябиновый ледок востока.

Андрей ни с кем не хотел встречаться. Он шел проулком вдоль вала и незаметно вышел к Спасским воротам. Изъезженная дорога вела через ворота на юг, к Москве; на дороге в навозе дрались воробьи, никого еще не было, только с башенной галереи смотрел из тулупа, как из трубы, сонный привратник.

Андрею хотелось посмотреть на дали, и он вошел в башню. Караульные вскочили из соломы, некоторые его узнали. Он благословил их и стал подыматься по деревянной лестнице.

Вверху открылись утренняя мягкая тишина, поля, осинники, еловые опушки, тронутые зарей. Над крышами посада вставали дымки, мычала корова в хлеву.

Андрей ровно, благодарно дышал; снежинки спускались из белого, истончались на меховом воротнике.

Под башней заскрипели мостовые блоки, застучали подковы: кто-то выезжал из города. Впереди ехал монастырский послушник, за ним – два мальчика в башлыках, и последним на гнедом жеребце – огромный детина в шлеме. Андрей узнал Деденю и княжичей. Он забыл, что вчера игумен Борисоглебского монастыря пригласил княжичей поклониться Корсун-скому кресту – древнейшей святыне, которую привез еще Андрей Боголюбский из Вышгорода от Бориса и Глеба.

Они ехали, все уменьшаясь, мимо старой Никольской церкви, мимо изб, свернули вправо, в низину, скрылись, и Андрей запоздало подумал, что ему надо бы быть с ними.

Ветром открыло восток, снежинки пересекали свет перед самыми глазами, потом надвинуло тучку, и все опять посерело, стало смирно, приглушено. Андрей еще раз окинул дали и стал спускаться.

У ворот ждала его епископская стража на конях – десять тверичей в кольчугах поверх стеганых подлатников.

– Я пойду один и пеший, – строго сказал Андрей.

– Но великий князь приказал…

– Пеший и один, – еще строже повторил он. Стража растерянно расступилась.

Никольская церковь была заперта, заледеневшие сугробы подпирали замшелый сруб. Синицы прыгали по насту, клевали семена репейника. Над входом под навесом еле различался древний образ святителя.

Спешил, проваливаясь, сторож, мягко упал в ноги.

– Мир тебе, старче, – сказал Андрей, – отомкни и впусти. – Заскрипели ржавые петли. – А когда княжичи Дмитрий и Александр поедут обратно мимо – позови их ко мне.

Он подождал, когда сторож зайдет за ним и уйдет, постоял в полутьме дерева, пыли, свечного нагара и пошел полуощупью на зеленый огонек в правом приделе Андрея Первозванного.

Этот огонек никогда не гасили. Епископ нагнулся, ощупал пальцами глубокие буквы в каменной плите, выпрямился.

Утро еле проникало в оконце, через дубовый сруб глухо доносило полозья и голоса с Московской дороги.

«Не по мне дело это, Господи: рвения много, рассуждения мало… Что же делать?»

Он шел сюда, чтобы спросить и решить, но здесь как-то это стало ненужным – здесь был покой иной и мысли ни к чему. Он почувствовал это и больше ничего не спрашивал.

За стеной постепенно разгуливался день: помыкивала в хлевах скотина, пророкотал копытами чей-то отряд, скрипели сани, кто-то смеялся – закатывался от души.

Епископ сидел на скамье у стены, сжав колени и спрятав голые руки в рукава. Он мерз, но не замечал этого – давно не отдыхал он так от мыслей, как в этой ветхой древесной полутьме.

Загремела скоба на двери, детский голос спросил: «А зачем?» – и Андрей с трудом всплыл из непонятного забытья.

Снежный свет хлынул на истертые половицы у порога; сторож внес в пригоршне зажженную свечку, стал зажигать от нее другие. Два мальчика вошли следом, встали, оглядываясь. Они держались за руки.

– Я здесь, дети, – позвал Андрей и встал.

Щупая пол ногами, они подошли к нему.

– Темно-то как! – сказал Алексашка. – А что здесь?

Немногие свечки только сгустили темноту по углам. Епископ взял детей за руки и повел к огоньку. Под огоньком отсвечивала зеленовато-серая каменная плита с грубыми письменами.

– Преклоните колени, дети, – сказал епископ и, когда они встали, начал рассказывать: – Был в этом храме пономарь, и звали его, как и меня, Андреем. Храм был небогатый, но народ его любил. Восемь лет прислуживал здесь Андрей, читал и пел, и на колокольню лазил, а еды не всегда ему хватало, но был он всем доволен.

Епископ замолчал, прислушался: в темноте дышали дети, ждали, что дальше.

– В лето шесть тысяч восьмисотое, в месяце июле при князе Дмитрии Александровиче, двоюродном дяде вашем, напала на Русь моровая язва. Гибли и скот, и люди, в ином селе некому было ни отпевать, ни погребать. А пришла она снизу, с Волги.

– Как татары, – начал Алексашка, но Дмитрий засопел, и он осекся.

– …Ударит человека, как рогатиной, под лопатку или вот здесь, под грудь против сердца, и начнет он кровью харкать, а потом жар, пот, дрожь, смерть…

Дыхания детей не стало слышно.

– Я сам все своими глазами видел. – Епископ отпустил Алексашку и перекрестился, мальчик тотчас перехватился за его рукав. – Мертвых носить в храм боялись, но этот пономарь, Андрей, носил и за упокой над ними читал, а потом тоже захворал и помер.

Тогда вспомнили прихожане, как он им служил и живым и мертвым, пришли обмыть его тело и увидели в руке его свиток, а в нем написано, я его читал:

«Азм есьм Андрей, един из князей смоленских, зависти же ради и крамолы от братий моих не стерпел, и оставил княжение свое, и дом свой, и все прочее, и сюда скрылся от всех, а здесь обрел мир».

Епископ замолчал, дети ждали терпеливо.

– А может, он был и не князь? – спросил Дмитрий шепотом.

– Нашли еще на нем княжескую цепь с гривной да перстень. И вериги железные под одеждой. Потом родичам дали знать, и все удивились. Оказалось, что был он сыном князя Смоленского Михаила Ростиславича, я, когда из Полоцка ехал в Киев священство принимать, видел брата его Федора, совсем уже старца. Но в те годы Федор, дядя Андрея, княжил после Михаила Ростиславича в Смоленске, и позвали его в Орду, а он оставил за себя племянника. Тут стали родичи под Андрея копать – думали, не вернется из Орды Федор, хотели, говорят, даже убить его. От родичей же это больнее всего…

– Надо было заковать их, – опять не удержался Дмитрий.

– И заковать родичей больно, Дмитрий, а что надо, то Бог весть, но только Андрею стало противно от крамолы их, и он тайно ушел сюда. Вот теперь здесь он и лежит, дети.

В твердом голосе епископа дрогнули-пропали слезы. Он встал на колени, прижался лицом к плите, долго не поднимался.

Дмитрий тоже приложился к надгробию. Он ощутил, как краснеет в темноте: «Князя-пономаря со святыми не поминают, так надо ли ему кланяться?» Но спросить Андрея об этом он боялся – необычен стал епископ, и вчера и сегодня совсем иной.

Они вышли и пошли по тропке через погост, жмурясь от снега. Епископ шел сзади и смотрел на вихрастую макушку Алексашки, который не сразу надел шапку. «Да, ангел мой привел меня сюда, как я ни бегал от него все утро, – думал Андрей. – Все решилось само и не там, в соборе, а здесь. Приеду, преемника поищу и уйду от дел княжеских совсем», – облегченно думал он.

Дмитрий шагал, упрямо угнув голову, подбивая носком ледышки по накатанной дороге. В рассеянном свете поблескивали жирно санные колеи, на старых березах в хрустальном кружеве вскаркивали вороны, кто-то на задах колол дрова – звонко-сухо лопались, разлетались поленья.

– Надень шапку, Александр, – сказал епископ своим обычным голосом.

Они шли к Спасским воротам. Впереди, над крутыми откосами, темнели срубы стен, в сером небе торчали под белыми карнизами тяжелые квадраты башен. Бревна перебрали не все – много осталось от прежних набегов, и эта пестрая копоть над белизною кручи грозно предупреждала о неприступности. «У нас в Твери кремля нет такого», – с завистью подумал Андрей. Он вспомнил рассказы об осадах Переяславля. «Это не от нас горело – от татар. Монголы все жгли – Суздаль, и Тверь, и Киев». Он чувствовал себя муравьем рядом с воротной башней, которую не так давно разбили тараны Оттокая и Алабуги. «Нет, давно – меня еще на свете не было, это… – он прикусил губу, высчитывая, – это пятнадцать, нет восемнадцать зим назад было…»

Нерукотворный Спас над воротами смотрел, как они идут. Стража прохаживалась по стене, заглядывала вниз сквозь стрельницы: ворота были открыты. А недалеко от моста сидели на корточках два обычных татарина в колпаках с наушниками. Поводья они заткнули за пояс, одному мохнатая лошаденка обнюхивала затылок.

Когда дети проходили мимо, он что-то быстро пролопотал другому, и Дмитрий покосился: татары с любопытством рассматривали-ошаривали его с головы до ног.

Через темноту воротного проема светились снеговые спокойные тучки, под низкой аркой деревянно отдавались шаги.

– А обедать скоро? – спросил Алексашка.

Когда они вошли в город, ворота заскрипели, сомкнулись с тяжелым лязганьем, и Дмитрий улыбнулся.

IV

Советовали ехать южным берегом, потому что колею санную через Клещино озеро перемело, но тверичи не послушались.

Выехали – еще не рассвело, чтобы к ночи добраться до Нагорья, десяток верховых передом, остальные – в легких санях. Поезд замыкал отряд переяславских дружинников, которые по обычаю провожали гостей до границ княжества, до Волги.

Мело несильно из белой озерной пустыни, полозья кидало на застругах, ухали сани в сыпучий надув, и опять налегали, отфыркивались лошади. Алексашка сразу заснул, провалился в сено под овчинами, но Дмитрию не спалось. Переяславль канул за сизую мглу, впереди был только дом, а здесь ни то ни се – межвременье, путь, которому конца не видно. Он все шептал: «Скорее, скорее!» Но лошади точно стояли на месте, а потом и в самом деле встали.

Медленно светлело, стала видна отпотевшая курчавая шерсть на крупе, следы копыт, бляшки у Дедени на поясе. Летящий снег стал резче, крупинки не таяли на шубе. Тронулись, и тут сани обогнал татарин: мелькнули раскрылья войлочного треуха, стеганая горбатая спина. Но мало ли ездит везде татар?

Качало волнообразно, завораживало, в полуявь, люди стали ничтожны, а тучи, ели, сугробы – беспредельны, не было больше ни имен, ни вещей, ни Переяславля, ни Твери, а только хвоя, отягощенная снегопадом, снегири в инее, и опять пестрина елей, и щенячий визг, и – «бейте их, бейте!», а потом – рывок и бодрый бег по хорошей дороге через спелый еловый бор совсем наяву. Пахло сеном, кожей, смолой, ледяным крошевом.

В Усолье въехали к обеду. Здесь была переяславская сильная застава, и ратники с любопытством наблюдали, как Дмитрий вылезает из-под вороха овчин и попон. Ноги затекли, первые шаги не получались. Деденя поддержал его, но он сердито высвободился. Сзади кто-то громко приговаривал:

– Твоя моя сено давай, моя твоя хрен давай? – и засмеялся.

Дмитрий обернулся: мимо по улице шел татарин с беременем сена, и сзади мужик, простоволосый, в одной рубахе: видно, как выскочил из избы в чем есть, так и пошел. Мужик повторял монотонно, скучно:

– Сено-то княжеское, не мое, сено-то не мое, слышь-ка – не мое…

Татарин, улыбаясь, неторопливо шел к коновязям: он видел, что все русские, мимо которых они шли, от души потешаются над глупым мужиком. Дмитрий хотел крикнуть Дедене: «Отбери сено!» – но вместо этого спросил:

– Зачем здесь татары?

– Говорят, князь Иван у баскака просил людей нас проводить, от греха, значит…

Деденя стегнул плетью обледеневший валенок, подумал: «А сотник переяславский ничего не знает об этом. Почему?»

– Нет, это они сами напросились, – сказал кто-то. – Им в Кашин. Пусть едут – тоже люди, боятся, в многолюдстве-то веселей.

Дмитрий спохватился, что слишком долго смотрит на татарина.

– Скоро ли приедем? – спросил он.

– До Нагорья-то? Дай Бог к ночи. Иди, княжич, в избу, погрейся.

И опять они ехали трусцой по светло-серому дню, через кондовый, но уже сосновый бор, по полянам, мимо медно-голых стволов с припорошенными в вышине пучками хвои.

Только в синей мгле вечера мелькнули огоньки Нагорья, донесло собачий брех. В селе целой осталась одна богатая изба – остальные пожгли тверичи. Многие погорельцы выселились, иные и жили в землянках – не хотели отстраиваться. Целая изба принадлежала переяславскому тиуну.

Тяжелый, бровастый, он не скрывал своей неприязни, через силу отвечал. На столе дымилась миска с пареной репой, стояла крынка молока.

– Ничего нет боле, – говорил тиун. – Все выморочено тут дотла. – И тверичи догадывались, на что он намекает.

Спать легли вповалку на полу, Дмитрия и Алексашку положили на полати. Скоро вся изба храпела: даже эти стены лучше, чем ничего, в пути, в чистом поле, всегда и все ожидали опасности.

Дмитрий лежал в печной темноте, глазел на масляную плошку, слушал, как шуршат тараканы.

Изба плыла сквозь темную метель, как барка по Волге, покачивалась на лобастых тучах, то падала вместе с сердцем в омуты, то послушно парила выше лесов и озер, и люди следили, как в межзвездной мгле огненно светятся ее пазы и окна: там кто-то жил, плыл; там я, Дмитрий, я уплываю, куда хочу, домой, к бабушке… Становилось все теплее, свободнее, и наконец он весь погрузился в теплый родной запах бабушкиной опочивальни, в ее карие кроткие глаза, которые с терпеливой улыбкой смотрели, как он приближался. У нее, у бабушки Ксении, все улыбчивое: морщинки, седина, тихий голос. И всегда она все прощает, вот отчего так легко к ней приходить. И отец, и епископ, и слуги – все для нее любимые. «Внучок любимый», – повторяет Дмитрий во сне ее голосом. Пахнет травами и маслом конопляным в низкой опочивальне, догорает вечер на пяльцах, на невиданных лазоревых цветах, на алых петухах.

Все теплее от бабушкиных мягких ладоней, и он глотает, глотает это тепло, но его столько, что не помещается внутри, и оно течет радостно из-под век, и он просыпается. Изба все плывет, а он щупает влажную подушку и хочет обратно, к бабушке, но уже не может.

Под потолком колыхалась густая духота, еле мигала плошка на загнетке. Изба дышала в беспамятном сне, вся теперь насквозь льдисто-голубая. Он слез с печи в неземное свечение из окон, нащупал валенки, накинул шубку и, шагая через дышащие бугры, вышел.

Он стоял, мочился с крыльца и щурился от восторга: до кромки леса чистые поля искрились зеленовато, а выше, в молочном небе, тоже переливались голубые искры. В разорванных тучах стоял ослепительно-белый диск в радужных кольцах. Купол тишины накрывал всю землю, и эту деревню, и его. Купол еле слышно позванивал от счастья, красоты. Через улицу тень от сарая черным треугольником пересекала льдистый поток дороги.

Дмитрий стоял и смотрел теперь только в черный треугольник, потому что черное исподволь переходило в лиловое и багровое, напрягалось. Остановило дыхание: гудящий срыв, что-то хлесткое вскользь чмокнуло в притолоку, рука метнулась, схватила у шеи – длинное, круглое, затухающее в тончайшей дрожи. «Стрела?» И мысли-чувства шарахнулись, умещаясь в ничтожные вспышки:

«В меня – сейчас – вторая – беги – не успеть – поздно – вторая пусть – выстоять – враги – смотрите – стою – я?»

Теперь все сузилось в зрачках – выстоять второй удар, и уже не мимо, а в горло, насквозь, до дерева. Но второй стрелы не было, а из черно-багрового заскрипела бегом черно-синяя тень, за ней вторая, и стали демонами-всадниками, сорвались в карьер. Тогда Дмитрий чуть покачал древко в притолоке – не поддается, посмотрел: около шеи жестко торчала татарская стрела. Железное острие до втулки засадилось в дубовый косяк.

В избе завозились, кто-то спросил:

– Конные вроде? Чьи?

Дмитрий стал мелко, противно трястись, но пересилился и хрипло тонко крикнул:

– Деденя! – И еще, пересилив дрожь: – Бей их, держи!

А с околицы караульные, словно эхо:

– Стой! Держи!

Ступени загрохотали от сапог, бегом выводили лошадей, прыгал огонь по соломенному жгуту, по растерянным опухшим лицам. Деденя с обнаженным мечом, но в исподних портах тянул, не мог вытащить стрелу, рассердился, обломал, сплюнул:

– Заразы, я б их, ах, заразы! – И наконец понял: – Господи, Матерь Божия – ведь это они в него, в княжича!

Он хотел увести Дмитрия в избу, но Дмитрий уперся, звонко сказал в толпу на дворе:

– Догоните! Двое их, направо поскакали, догоните!

И Деденя, морщась от ярости и страха за него, заорал, расколол до леса всю лунную красоту:

– Седлай! Догоняй нехристей! Князь приказал, слышь-ка?

«Князь». Князем его еще никто не называл. Догнать татар, убить татарина мог приказать только князь. Он выстоял сегодня. Выстоял. Могло быть это, ОНО. Но он выстоял. Он стал новым, другим. Его не тошнит. Он действительно не боится.

И Дмитрий сам, неторопливо, спокойно пошел в избу. В избе все было перевернуто, на лавке сидел полупроснувшийся Борис Наровитый, нечесаный, рябой и испуганный.

– Пошлите кого, пошлите, – повторял Наровитый: в совете он был хорош, но в бою трусоват.

– Я послал, – сказал Дмитрий и сел рядом.

Теперь главным было, чтобы никто не заметил дрожи, и он поставил руку на локоть и стал смотреть на кончики пальцев: дрожи не было. Хотя внутри она сидела, но он так глубоко ее загнал, что никто не догадается.

– Острие выруби утром, – сказал он Дедене. – Я отцу покажу, как они меня хотели…

Деденя только качал головой, шлепал себя по коленям.

– И впрямь – надо вырубить, – согласился Наровитый. – Ну, теперь не заснешь. Сколько наших-то всего здесь?

Не спали, сидели по лавкам, клевали носами. Постепенно побелело за окошком; хозяйка затопила печь, громыхала корчагами; в углу за загородкой чмокал, отфыркивался теленок, которого девочка поила из рожка.

День полз незаметно, перевалил к обеду, а погоня не возвращалась. Разговаривали мало – у всех вертелось одно: кто подослал убийцу?

– Не догонят, – сказал Наровитый. – У них подставы верно заготовлены, да и кони резвее… Не пора ль перекусить?

– Везут! – крикнули со двора, и все повалили из избы.

Дмитрия пропустили вперед. Во двор шагом въезжали конники, мокрые лошади носили боками. На ископченный снег сбросили с седла какой-то куль. Дмитрий сперва не понял, потом разобрал поджатую ногу в стоптанном сапоге, поискал и не нашел головы: вместо нее – черный сгусток в заскорузлом войлочном вороте.

Подошел Томило Ботрин, толкнул тело ногой:

– Доездился, пес! А надо бы живьем.

Рыжий переяславский сотник не спеша слез с коня, отодрал сосульки с усов, степенно откашлялся:

– Этого пришлось – осатанел, как отбивался. Гаврилу порешил, ну ребята его и того…

– А второй?

– Второго везут – подранили.

Дмитрия кто-то стал робко ловить за рукав, он обернулся: Алексашка. Брат вышел, увидал безголовый куль и забоялся. Дмитрий сжал маленькую потную ладонь, повел Алексашку в избу.

– Перехватили аж за Кубрей, – рассказывал сотник. – У этого еще у околицы коня подшибли, захромал. В стогу прятались, в березнике, хотели со следу сбить – свернули перед Андрияновым, но, слава Богу, пороша выдала.

Сотник старался изо всех сил, и все понимали, что он хочет отвести подозрение от князя Ивана Даниловича, от переяславцев. Но на них никто и не думал: «Юрий Московский, больше некому».

На дровнях привезли второго татарина – раненого и злого. Не развязывая рук, заперли в амбаре, поставили стражу.

Розыск решили вести здесь же, не откладывая. «В Тверь везти – еще околеет по дороге», – сказал Томило Ботрин. И переяславцы настаивали, чтобы розыск вели при них, а отказать было неудобно, да и небезопасно.

Очистили от кадушек и хомутов заднюю летнюю избу, поставили стол для писца-монашка, сели вдоль холодных стен на лавки.

– Введите нехристя, – приказал Норовитый.

Татарина втащили, бросили на пол. С обескровленного, как блин, лица тускло злобился раскосый взгляд, отвисшая губа обнажала плохие зубы.

– Кто ты есть? – спросил Норовитый.

Татарин молчал.

– Зачем Дмитрия, сына великого князя всея Руси, стрелой бил? Отвечай! Или не разумеешь по-русски?

– Разумеет! – усмехнулся рыжий сотник. – Как брали, крыл матом – все понятно.

– Отвечай! – повторил Норовитый. – Зачем бил в княжича? Скажешь – отпущу к хану, нет – волкам бросим на морозе. Понял?

Татарин понял, передернул плечами, стараясь выпростать руки из сыромятных ремней.

– Не я бил. Демучин бил. Сними путы, урусут, хану скажу, я ханский нукер, тебя хан повесит, жену возьмет, двор, сними!

– Ах ты!.. – Томило раскатисто ругнулся, хотел встать, но Норовитый его удержал, прислушался: за дверью кто-то спорил басом со стражей, загремели чем-то, и в избу ввалился Деденя.

– Чего тебе здесь? – недовольно спросил Норовитый.

– Князю Дмитрию Михайловичу – честь и место! – не отвечая, провозгласил Деденя и посторонился.

Дмитрий, тоненький, бледный, встал на пороге, поискал глазами свободное место, шагнул, отодвинул рукой Томилу и сел.

Бояре переглянулись.

– Тебе, княжич, отдохнуть лучше, – кашлянув, заговорил Норовитый, – а то розыск – дело грязное, не для твоих очей…

– Иди, Дмитрий, мы и без тебя, – начал было Томило, но мальчик так посмотрел на него, что он смутился.

– Почему без князя о князе розыск ведете? – по-взрослому бесстрастно спросил Дмитрий, и ноздри его задрожали. – Я отцу в Твери все расскажу! – Щеки зарозовели пятнами, зрачки расширились. – Это он в меня стрелял?

Татарин без страха с наивным любопытством разглядывал его, облизывая разбитые губы. Из стеганого халата торчали худые ключицы. Потом любопытство сменилось равнодушием: татарин прислушивался к чему-то внутри себя, бледно-желтая кожа на щеках стала дряхлеть, сереть, как ветошь.

– Кто тебя подослал? – зарычал Томило. – Говори – убью тот час!

– Погоди, Томило, – шепнул Норовитый, – погоди, князь сам…

Дмитрий подошел к раненому, нагнулся, понял-ошутил, что через миг произойдет в этом худом немытом теле, и, торопясь, задыхаясь, спросил проникновенно:

– Зачем? Что я тебе сделал? Скажи, что?

Тусклые щели глаз отвлеклись от себя, удивились, короткий язык слизнул пот под носом.

– Не моя стреляй, князь, Демучин стреляй, плохо стреляй, мимо… – Татарин уронил голову, стал заваливаться. Его поддержали.

– Но за что?! – с дрожью крикнул мальчик.

Татарин скрипнул зубами, улыбнулся, шея его отвердела.

– Твой глаз дурной, – прошептал он серьезно в напряженное детское лицо. – Людям шибко худо делай – Арудай животом болеть стал, стрелять велел… Ой-ай!

У него закатились белки, каплями враз оросился серый лоб.

– Все говори, сволочь! – не выдержал Томило, и с трудом вернулись на место зрачки, беспросветно черные от ненависти.

– Вам, урусутам, джихангир хребет ломать будет! Всем, всем, всем! О, ла иль алла, – просипел татарин, обмяк, дернулся раз, два. Его осторожно выпустили, затылок деревянно стукнулся о половицу.

Дмитрий стоял над маленьким скуластым лицом, смотрел пристально в тусклые щели под надбровьями.

Только что это был татарин, потом – на миг – человек, а теперь просто скорченный куль – сверток немытого тела в стеганом дешевом халате. И от этого в нетопленой избе поднималась промозглая мгла, в которой беспомощно блуждали не нужные теперь мысли.

– Врет он все про Арудая, – сказал Норовитый.

– Может, и не врет. Тела-то ихние вы с собой заберите, а нам допросный лист спишите, а то понаедут ордынцы, и отвечай – в чужом пиру похмелье, – говорил рыжий сотник.

– Отвезите их в город, князю Ивану покажите, – с издевкой предложил Томило.

Заспорили: дело было нешуточное – убить двух татар. Хорошо еще один признался. Сошлись на том, что ночью отъедут и бросят тела в поле – волки либо псы изгрызут, и концы в воду. Но каждый подумал: все равно дознаются баскаки – средь нас, как и везде, есть их глаза и уши. Концы-то в воду, а кончик останется. Кончик и впрямь остался: рыжий сотник достал из-за пазухи пластинку с вырезанным соколом – охранный пропуск гонца либо ханского нукера.

– Нашли вон на этом. Князю отвезу, – угрюмо сказал он.

Дмитрия все это больше не занимало. Он боком пробрался к двери и вышел. Тускнели снега под пасмурным небом, за вечерним полем недобро щетинился ельник, выла на задах собака. Что-то на волос сдвинулось в знакомом мире, но он не понимал что.

Теперь ехали кучнее, молчаливее, возле саней с княжичами постоянно месили снег настороженные верховые.

Но Дмитрия, наоборот, всякий страх оставил: голова стала большой, розовой изнутри от спокойного жара, в котором медленно, как рыбы, проплывали неясные забавные мысли. Он все старался прикормить их – сыпал хлебные крошки с мостков в воду, и тогда рыбы поднимались навстречу из мутно-зеленой глубины. Осторожные красноперки, толстогубые лещи и полосатые окуни. Их трубчатые рты воронкой втягивали крошки, и почему-то становилось легко. На том берегу, в камышах, сквозь туман всходило солнце. Зыбкие блики тянулись до мостков через весь плес. Он ловил блики, окунал руку по локоть в неощутимо теплую воду и улыбался, когда рыбья молодь щекотала хвостиком по ладони.

А потом – толчок на ухабе разбивал непрочную гладь, качались в ресницах осколки солнца, стрелой в тень бросались рыбы и в рваную брешь дуло суровым сквозняком с обледеневшей дороги, двигались неспешно мимо обгорелые остовы елей, и, закрывая их, покачивался чей-то красный щит, закинутый через плечо.

Дмитрий пересчитывал круглые заклепки по кованому ободу, рассматривал острое навершие шлема, заиндевевшую меж лопаток кольчугу, гривы, хвосты, крупы или сожженные ветром одинаково жестокие лица воинов. Он старался понять, чего они ждут, но не удавалось, он уставал и опять закрывал веки.

– Огневица, – говорил рядом голос епископа Андрея, – продуло ночью на крыльце.

«Откуда со мной епископ?»

А кто-то все повторял:

– Погоняй! Погоняй!

Торопились, сокращали стоянки, недосыпали. Вперед, в Тверь, погнали гонца – просили выслать навстречу дружину.

Дмитрий просыпался и опять погружался в розовато-теплые сумерки внутри головы. Там было расслабление, а потом – отдых, сон.

Там, внутри, он мог приблизить, рассмотреть по очереди все, что он любил в детстве: мостки на вечерней Тверце, полет стрижей, натопленную лежанку в бабушкиной опочивальне, своего гнедого жеребца Ритора с нежно-горячими ноздрями, густую, как мех, мураву на заднем дворе, на которой он лежал и соломинкой дразнил муравья.

Муравей вцепился жвалами и не отпускал, а он поднял его на соломинке в небо, и муравей стал черным, соломинка как струна, а в окне облаков за ними сияли снеговые теплые ворота – вход в иную страну.

Он сейчас спокойно чувствовал, что страна достоверна, как Тверь, потустороннее стало простым, даже привычным. Можно было одним легким усилием поднять тело над землей и лететь к стране в облаках, сжав ноги, не шевелясь, вместе с муравьем на соломинке. А круглолицые всадники под ним удалялись, не могли догнать, хотя все внизу кишело ими. «Ну, давай еще, ну, повыше!» – повторял он, упиваясь своей властью. Выше облаков простирался майский луг и, как на иконе, очень белый монастырь, а рядом – высокий старец в епископском облачении. Дмитрий понимал, что не долетит до него, и так оно и случилось: что-то испортилось, он стал плавно снижаться, толпы всадников, густые, как гречка в горшке, скакали, подняв ждущие монгольские личики. Они знали, что он обязательно спустится, потому что за пазухой у него лежит ЭТО. Он позабыл выбросить это – шевелящийся сморчок с крысиным хвостом, и его затошнило от вони и тяжести бессилия. Он попытался выбросить, но рука не слушалась, не могла нащупать застежку на вороте. Тогда он застонал от усилия, просунул все-таки руку, и – ничего не было. На груди в поту плавал только материнский крест, о котором он совсем забыл, а в кресте, вспомнил он, молитва от супостата. Он опять застонал, но уже потише. «… Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы, летящия во дни, от вещи, во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго…»

Холодная ладонь твердо отерла его лоб, он увидел настоящее небо, серо-белое от мелких туч, рябое, солнечное, а внизу – белую плоскость реки, санный след, и на том берегу – дымки, железные искры, черные жучки людей, которые сползались к дороге.

– Волга! – остановил голос епископа. – Слава Тебе, Господи!

Сани встали. Курились влажные крупы; ноздри втянули здоровый запах пота, соломы, льда, сыромятной кожи; глаза расширились на пестрое ветреное небо, на белизну, по которой все ближе скакали синие и клюквенные епанчи среди серой и черной челяди, и чей-то панцирь изредка равномерно вспыхивал, и наконец стал слышен разнобойный топот множества копыт.

– Наши встречают! – звонко крикнул Алексашка.

Тоскливая тяжесть свалилась с груди, сгинула сквозь тело в землю, и только по участившемуся дыханию Дмитрий понял, какая это была тяжесть.

– Как же это, как же это его! – приговаривал кто-то возле саней очень знакомым голосом, и к нему нагнулось лицо дядьки Осуги. Оно, как всегда, было седоватое, хищноносое, но сейчас глаза округлились, поглупели от радости. Дмитрий слабо улыбнулся.

– А… батюшка где? – вспомнил он что-то важное.

– Великий князь в Кашине, и матушка княгиня с ним, – ответил Осуга сипловатым с похмелья голосом. – Полегчало, княжич?

– А зачем?

– Войско там собирают. В Твери-то мы одни с Бармой.

– На кого войско?

Осуга смутился.

– А ни на кого. Да они враз воротятся: княгиня старая занемогла, гонца погнали… Да и вы-то больно скоро обернулись: никто не ждал.

– Бабушка захворала?

Осуга понял, что совсем проболтался.

– Не то чтобы очень, но ведь года ее, говорят, я слышал…

– Ступай вперед, старик, – сурово приказал епископ. – Приготовь княжичу баню.

– Готова уже, владыко, все готово. Мы как узнали, что…

– Ступай!

Сани тронулись. Сухой лоб остужало снеговым ветерком, скрипели, пели, свистели полозья, постукивало о костыль деревянное ведро.

Дмитрий прикрыл глаза. В свои розовые пещеры он уйти теперь не мог. Но и так было спокойно – лежать на спине и ехать по своей, тверской, земле домой. Хотя его подташнивало и знобило.

Вечером Осуга взял его на руки и прямо из саней по сугробной тропке перенес в жарко натопленную баньку.

Солнечное пятно лежало на матице – потолочной балке, коричнево блестящей от времени и копоти. Пятно задевало гладко заструганный сосновый сучок. Кольца внутри сучка золотились волоконцами-кристалликами. Это было первое, что видели глаза, а ниже – ливонский арбалет на бревенчатой стене и приклад черного дерева с инкрустацией из перламутра.

Глаза узнали арбалет, удивились, и только тогда вернулось ощущение всего тела – насквозь живого до каждого мизинчика на ногах. Каждая клеточка тела потягивалась, втайне улыбалась нечаянной радости. Он понял, что вернулся в детство.

Блик на потолке – от серебряного складня в углу, на который пал прохладный луч. Арбалет привез еще дед Ярослав из Новгорода, а отец подарил, когда исполнилось ему десять лет, но стрелять не давал: «Когда сумеешь натянуть, тогда дам».

Он подтянул коленки к животу, потерся щекой о ворс одеяла. Он знал, что теперь будет жить без конца, только вот еще немного поспит у себя в постели, в старом дедовском доме, который сбережет его от дурных снов.

Но он не мог заснуть – от радости и ожидания еще большей радости. Ему захотелось пить. На скамейке в изголовье стоял жбан с квасом. Он черпанул ковшом, удивился на свою худую птичью руку и долго глотал.

Ковшик упал, стукнул, и сразу неслышно вошел Осуга. Седые кустики-брови полезли вверх, глаза округлились.

– Оклемался, княжич? Не тянись – подыму.

Осуга был причесан с маслом, в новом полукафтане, в козловых сапожках – сед, трезв, даже благообразен.

– Княгиня Ксения Юрьевна с одра поднялась – приехала тебя проведать, – сказал он сипловато, таинственно. – Дай-ка я тебе кудри расчешу. – Но он не успел: отступил, поклонился, а через порог шагнула и выпрямилась сама бабушка-княгиня.

Дмитрий откинулся на подушки. Он улыбнулся, как всегда, но и по-иному, и она улыбалась ему от порога тоже по-иному – чуть вопросительно.

Она стала стройнее или от темного плата над белым лбом, или от прямой черной одежды. Стройнее от усилия быть стройнее и чище – от совершенно поседевших волос, которые пушились на висках. По-прежнему глаза согревались изнутри золотисто-карими точками, только морщинки отекли да походка стала медленнее, с пришаркиваньем. Дмитрий долго ждал, пока она пересечет солнце на стене.

Что в ней было, что никто не мог ей солгать? Даже Юрий Московский по-своему чтил княгиню Ксению, а он никого не чтил. В 1304 году ее именем митрополит пытался удержать его от борьбы за великокняжеский престол. Всегда добрые, но зоркие глаза были у княгини Ксении. Это она заметила инока Андрея и привлекла его к сыну, к Михаилу, и радовалась, что теперь их епархия под его заботой. Это она предупреждала кротко Акинфа Ботрина не идти на Переяславль, но Акинф ее не послушал…

А для Дмитрия она была всегда обыкновенной и самой родной: все добро их рода собралось и улеглось в ней, в ее улыбчивых морщинках.

Сейчас и она и он молчали, потому что главное уже совершилось: они опять вместе.

Она села, голубоватыми пальцами погладила его висок, волосы, а ему, как прежде, захотелось дотянуться, поиграть с ее крестиком на цепочке из граненых шариков, но он не посмел. И она это заметила.

– Был дитятей – стал отроком, – сказала она то, что он не знал, как выразить.

Дмитрий смутился: она сказала про это невесело, а именно этому он бессознательно радовался всю дорогу даже на дне болезни. Ему расхотелось рассказать ей о татарине, но сердиться на нее он не мог и только для вида надул губы.

– Ты не сердись, внучек, на меня, старую: мы, бабы, войны не любим, нет, – сказала она и совсем по-деревенски покачала головой, но тут же добавила иным голосом: – Это дело до корня лихое, и нет ему оправдания перед Господом.

Дмитрий не понял – такого никто никогда не говорил из мужей. Но он, как всегда, поверил ей без сомнений.

– А где батюшка?

– Михайло завтра будет, – успокоила она. – И матушка будет. А войско он набрал да распустил. Все ладно будет…

Дмитрию хотелось спросить: для чего собирали войско, но он не спросил, он как-то стеснялся теперь показать, что его это искренне интересует. А раньше, когда он только играл в войну, он про все такое ее спрашивал.

– Собор-то Спасский в Переяславле красоты какой! – сказала она. – Разглядели небось все? Я-то в нем давно не бывала. Еще при деде твоем, еще не разорил его Неврюй.

– А я нойона видал татарского, Арудая, – не выдержал все-таки Дмитрий.

– Арудай? Не слыхала про такого. Ну и что?

Щеки его слегка порозовели. Как ей рассказать, что он монгола смутил взглядом и за это чуть не был убит? Даже и не это, а тот лунный миг, когда он смотрел на страшный треугольник и не сморгнул, выстоял. А стрелу Деденя вырезал, и он отцу покажет. Но ей почему-то не хотелось об этом говорить. Он сказал только:

– А я его не боюсь, – помолчал, поводил погрустневшими глазами по потолку и совсем тихо прибавил: – Теперь…

От худобы глаза его стали темнее, шире и чем-то иные, как у отца, – напряженные, а волосы отросли за ушами и спереди до бровей, спутались. Она легонько расправила их, вздохнула:

– Все-то к лучшему устроится, не торопись только. «Я сам да я сам» – так-то твой дед покойный приговаривал. Вот и…

Дмитрий знал, что деда его, мужа бабушки, Ярослава Ярославича, отравила ханша, и он умер по пути из Орды, немного не доехав до дому. И прадеда – тоже. В семье редко об этом

говорили. Все это было так давно, и вообще он не мог представить, что у бабушки мог быть когда-то муж.

– Кушать не хочешь еще? Покушай, я тебе монастырского хлеба принесла, пшеничного. Такой духовитый! Нигде такого нет.

Осуга стелил скатерку на столик, ставил соль, миски, а она сидела и смотрела, как Дмитрий ест. Это не мешало ему – наоборот. Впервые он ел с удовольствием.

Осуга стоял у двери и тоже смотрел. Сам он уже пообедал с челядью.

– Осугушка, что я тебя попрошу, милый, – сказала бабушка.

– Чего изволишь, княгиня, я тебе всегда…

– Вот чего – не пей ты часто, милый, не пей…

Седоватое хищноносое лицо Осуги стало медленно буреть, глаза забегали.

– Да разве я, княгиня… – Голос его осип, осекся.

– Не пей, Осугушка, и тебя жаль, и Димитрия. Михайло-то мой не пьет, и ты не пей. Много еще на Руси пропьют добрых голов. А дашь ли мне слово? А?

Она все улыбалась тихо, но старый дядька насупился: он знал, что великий князь ненавидит пьянство и его терпит при Дмитрии только за верность и любовь к сыну, которого он нянчил с четырех лет. Он знал также, что княгиня Ксения никогда не пожалуется на него и сейчас не пугает, а истинно жалеет. Морщины его еще гуще побурели, а жесткий взгляд стал прозрачен от борьбы:

– Что ж, тебе дам роту, княгиня…

– Клястись грешно, Осугушка, ты дай свое слово. Одно.

Ксения выпрямилась.

– Вот оно, мое слово. Одно: брошу! – глухо выговорил Осуга, поклонился и вышел, забыв убрать миски со стола.

Дмитрий смотрел на бабушку, приоткрыв рот. Она опять покачивала головой, про себя чему-то улыбалась участливо: кого-то вспоминала.

– А он взаправду пить бросит? – спросил он.

– Что?

– Осуга пить не бросит!

– Бросит, внучек, бросит.

– А почему?

Она все смотрела куда-то мимо, мягко, печально:

– Потому бросит, что тебя любит.

Дмитрий лег на спину и стал обдумывать эти слова. Пятно солнечное на балке переместилось, но сосновый сучок, заструганный заподлицо, остался на прежнем месте. На этот сучок он смотрел всю жизнь, когда засыпал. Он любил засыпать на спине. «Кто на спине спит, тот врага не боится», – говаривал Осуга. «А я люблю Осугу? Люблю». Сейчас, когда бабушка сидела рядом, ему казалось, что он любит всех. Это было, оказывается, так просто – быть, как она, когда она рядом. Она-то действительно всех жалеет. «Даже татар?» Он вспомнил безнадежное личико мертвого татарина, который сказал ему правду. Сейчас даже татары не пугали привычной тошнотой, будто их и не было вовсе на свете. Да здесь их, и правда, не было: везде, кроме этой полутемной опочивальни, рядом с бабушкой Ксенией, было ОНО, но сюда оно не давило. Он ощущал это всем своим освобожденным телом.

И поэтому захотелось спать. Веки медленно опустились, поднялись и опять опустились на уходящий в туман взгляд. «Бабушка тоже поспит», – подумал он напоследок.

Но старая женщина не спала: она сидела неподвижно, думала о нем, слушала, как все ровнее и глубже становилось его дыхание.

Да, он очень исхудал: виски запали, на шее бьется жилка. Слишком много видели наши дети. Когда он спит, то опять совсем ребенок: раковинка уха, теплая кожа, такая белая – только

ноздри слабо розовеют да полуоткрытый рот. Но и в этом – в подрагивании в разрезе ноздрей, в проступивших скулах – она чуяла ту мужскую завязь, которая в свое время прорастала во всех ее сыновьях и внуках. В завязи было бездумное мужество, но была и грубая горечь. Она знала, что это заложено с начала времен, и так и должно быть, чтобы мальчик стал мужчиной, а девочка – женщиной, хотя первому, может быть, придется убивать, а второй – кричать над убитым сыном. Ничего нельзя изменить. Даже низшие стихийные силы смеялись над потугами того, кто забыл Бога и мнил себя хозяином людей и вещей. Только одно могло изменить и законы, и само время, только Он мог отвратить даже неминуемую гибель.

Она чуть сгорбилась от приступа привычной боли в боку и терпеливо переждала, пока не прошло. Рот наполнился горечью. Но теперь это не мешало ей думать. Может быть, она проживет для него еще год, может быть, и два. Она покорилась добровольно, потому что конец этого старческого тела – совсем еще не конец всего.

Пусть пока спит спокойно он, любимый больше всех.

Она немного смутилась: нельзя отбирать одного за счет других. «Но ведь и других я тоже люблю, Господи. Я прошу Тебя…»

Она несмело подняла глаза к зимнему оконцу. Чего попросить для него? Счастья? Но в чем счастье человеков? В наше время любое счастье обречено не сегодня, так завтра. Она слишком хорошо знала свое время. Ведь копыта, не разбирая, топчут всех – самых нежных и самых смелых.

Тысячи, тьмы тех копыт. А всадники безглазы и немы и уже не могут остановиться.

Она опустила голову, стихла, прижав щепоть к переносице, и долго сидела так, ни о чем не думая.

Слова древней жалобы, нарастая, шумели в ушах, роптали, как голые осинники, когда из полей порывами налетает северо-западный ветер, бросает пыль с привкусом снега: «Ты сделал нас притчею между народами, покиванием головы между иноплеменниками…За Тебя умерщвляют нас каждый день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, о Господи? Пробудись, не отринь навсегда!»

– Не отринь, не отринь, Господи! – повторяла она. – Ведь рано или поздно каждый будет несчастен – в семье, или в болезни, или в роскоши, или в рабстве. Сам в себе. Нет, не татары, а это – сам в себе. Только дети спасутся, спаси его, Господи, от самого себя. Спаси, как Ты знаешь…

Она посмотрела на мальчика, и в ее старое лицо медленно возвратился покой: Дмитрий откинул руку, почмокал по-детски, его лоб, веки, родинки – все было беззащитно, маленький рот улыбался – верно, он видел что-то во сне.

За стеной ходили, разговаривали, перетаскивали тяжести: слуги прибирались перед приездом князя. Ей тоже было пора идти к себе. Она тихонько перекрестила его издали, выпрямилась, медленно, пришаркивая, пошла к двери.

– …Как дети, будьте как дети, – шептала она, покачивая головой.

Пушистая седина просвечивала на висках.

Такой, обычной, ее и увидели слуги, когда она вышла к ним.

Часть вторая
Смятенные ветви

I

Вчера было ясно, сухо, сегодня с утра – пасмурно, сонно. Юрий вызвал его спешно в Москву, а сам, не дождавшись, ускакал в Ржев неведомо зачем. Безделье, изжога раздражения – нечем было заняться. Да еще непогода.

Весь август до Спаса было безветренно, чисто. Еще два дня назад ехали из Переяславля по просекам под синими высями через березовую позолоту. На опушках в сухой листве крепко пахло грибами, паутинки искрились в затишье.

А здесь, в Москве, заволокло все без просвету, с Кремлевского холма за рекой еле просматривались леса на Воробьевых горах. Белесая мгла липла к бревнам, к соломенным крышам; отсырел дерн в проулках, отволгли волосы, дышалось трудно. Иван Данилович не знал, куда себя деть. Он стоял на валу под стенами, оглядывался бесцельно.

Да, Москву, свое трудное детство он любил больше Переяславля. Она была беспорядочнее, но шире, ласковее; везде пригорки, заборы, ручьи, рощи, полянки, кудижки, ольховые овражки. В садах и за ветлами белели пруды, деревеньки лепились по скатам кучами перестарых опят, пестрели клинья овсов, кое-где серели дранкой шатры часовен. А над рекой в селе Киевце белел храм Николаю-угоднику. Пасмурно, тихо, зелено по-деревенски. Тропки, мостки, дорожные колеи.

Но главное с детства – река. Ровная, медленная, вбирающая облачный свет за баньками на огородах. Еще все спят. Причалы заставлены пустыми лодками, вон рыба плеснула – пошли круги, заколебали отраженья. У спуска две бабы с коромыслами белья смеялись чему-то; на старом пожарище торчала черная печь, а вон в занеглименье еще и еще горели пустыри среди свежих срубов: пять лет назад тверичи дважды разоряли посады.

Иван занялся считать новые дворы, довольно усмехнулся: Москву как ни жгли – опять нарастет. Когда позавчера выбрались из проулков, сразу у всех закинулись лица – на высоченный вал за речкой и выше – на угловую башню, трехъярусную, неприступную от столетних кряжей. Из ее подслеповатых глаз тянулись следы грозных слез – вара и кипятка, которые лили при осаде; бревна выщерблены ударами каменных ядер. Да, Юрий крепко огородился – ведь Тохта тогда все пусто сделал. Двадцать лет назад. Он еще раз огляделся. Вся Москва – с деревеньками, проулками, стогами, дворами – как грачиное гнездо уютное, неряшливое. И только Кремль как острый сук дубовый сквозь это гнездо – попробуй влезь! Только он был здесь собранным, воинским. Так и надо.

«А все равно скучно, – подумал он. – Да, так и надо, но…»

Что-то недоговаривалось, хоть и ощущалось, уже не мысли, а оцепенение, которого не любил, но только так предчувствовалось нечто несложившееся, угнетающее. Он прищурился на дали: здесь – оборона, там – зелень и солома; все там, как всегда, жило, торговало, бранилось, рожало, плакало и ехало по разбитым до станового хребта дорогам: по Волоцкой – через болота, по Тверской – через сечи, по Владимирской – через боры, а вон и сейчас в луговом заречье кто-то едет по Ордынской: один, два, пять – коней с ночного гонят, нет, сокольники, наверно. Все обычно, все так и останется…

Оттуда, с заречья, донесло слабый звон Данилова монастыря. Звон пропадал в парной дымке. Рядом ударили у Михаила Архангела. Иван перекрестился. В храм идти не хотелось, но он никогда не пропускал службы. Он зевнул и пошел обратно, к воротам. У того берега отра-

жались бунты, новые срубы на плотах. Серая вода двигалась еле заметно, беззвучно сносила вниз чей-то плетень с клочьями гнилой соломы.

Во дворе все тоже было изучено с детства до каждой колоды. Только церковь строили уже без него и, когда копали фундамент, выворотили кучи глины, да так и оставили. Иван остановился недовольно: обычный Юрьев непорядок. Кучи заросли крапивой, лопухом, а сквозь зелень чернели песок, закоптелые черепки. «А может, кости?»

Здесь, меж строений, небо было еще ниже; плотники стучали топорами на угловой башне; во рту был привкус скуки. «Когда это придавило меня так? С детства? Нет, хотя и тогда… Зола-кирпич? – захотели, разорили все. Что толку… Когда ж? Даже сами они – Картахан улыбается, а в глазах – вар, мертвечина… Вот когда она меня – когда ходил к нему ночью на Арудая жаловаться. Прошлый год».

Иван поковырял спекшийся песок носком сапога.

Тогда, в 1293 году, он, мальчишка, вернулся с отцом из-под Переяславля и радовался, что повидал битву, а теперь снова дома. Было что порассказать Юрию, который завидовал. Темники-золотоордынцы по жалобе Андрея на своего брата, великого князя Дмитрия, разорили тогда понизовские города, а потом Суздаль, Муром, Юрьев и, с помощью москвичей, Коломну, Переяславль. Даже Богородичну церковь во Владимире не пощадили. А Москву не тронули.

Иван все стоял, ковыряя кучу сапогом; за спиной проходил народ в церковь, оглядываясь на его понурую спину.

Во тьме матушкиной постели, в гладком бабьем тепле, разбудили его голоса, топот. С вечера он хворал простудой, и голова была грузная, тупая. Чьи-то трясущиеся руки зажигали святильню, и он удивился, узнав руки отца, который ничего не боялся. Потом эти руки бережно приподняли его, сверху из сумрака с непривычной скорбью смотрели отцовские глаза, а голоса его он совсем не узнал: всегда с насмешливой хрипотцой, а сейчас слабый, как в болезни: «Вставай, Иванушко, татары!»

Сапог отковырнул гнилую щепку, Иван поднял ее, повертел, бросил в лопухи.

– Срам, в княжьем дворе и – мусор не убрали! – сказал он громко, чтобы отбить мысли, но видение не пропало.

…Полураздетая толпа сидела и стояла в поле на мокрой земле; моросило, осенний рассвет еле занимался, но было светло, как в полдень: за Неглинной с ревом горел Кремль. Все смотрели туда молча, тупо, только чей-то ребенок тоненько, по-щенячьи скулил.

Отец, мать, Юрий, бояре – все бежали, а он, дурак, остался: когда увязывали в спешке ночью возы, соскочил с телеги, выбежал на двор – забыл взять любимого сокола, белую челигу. Проискал, протыркался и остался. Стоял один, озирался, тер глаза.

Москва без князя отворила ворота татарам. Ордынский царевич Тудан по обычаю выгнал жителей в поле, а город отдал на двое суток войску на грабеж. Ивана спас отцовский сокольник Никола Пень. Когда монголы по закону чингисову начали делить в поле народ: девок – на позор, рукомеслов – в Орду, знатных – на выкуп, Никола сказал, что Иван – его сын. Уже тогда он был плешив и с проседью, а таких не угоняли, только для смеха меркиты Оттокай-хана отрезали ему левое ухо, утешили: «Нашему хану для полного счету!» Счет убитым врагам монголы вели именно таким способом.

Иван смотрел помутневшими глазами на глину меж лопухов, но видел костистого высокорослого Николу. Никола Пень стоял спокойно, равнодушно, хотя кровь вниз по шее чернила рубаху до подмышки. Может, за это татары его и отпустили.

Иван поежился, опомнился. Все это было, да быльем поросло, и незачем ворошить. Двадцать лет! Дети с тех пор выросли и переженились. Огибая кучу, он зашагал к церкви.

«С тех пор некого нам опасаться. Татары – тоже люди, привыкнуть можно. Восьмой десяток пошел, как ханы правят. Отцы наши, деды, прадеды в Орду ездили, и мы будем ездить, и внуки, и правнуки. Так тому и быть. Ханы не только нас – митрополитов ставят. Я еще маль-

чишкой понял все, бросил мечтать. Только безумцы вроде Михаила Тверского еще мечтают о чем-то. Работать надо, а не мечтать, год за годом, для Дела, для семьи, для себя. Ум надо иметь, разум, великое притворство… Да!»

У Михаила Архангела было полупусто: будний день, покосы. Из «верхних» зашел только посадник Петр Кучка, встал чуть позади. Иван Данилович повторял молитвенные слова, иногда подпевая красивым сухим тенором – петь он любил.

На середине службы к посаднику бочком пробрался слуга, шепнул что-то, Петр нахмурился, пожал плечами, вышел. Иван остался до конца. Он был доволен и службой, и собой.

На паперти привычно запричитали, потянулись нищие. Только высокий старик молча стоял в сторонке, и ему-то Иван бросил полушку: он любил таких молчунов.

– Спаси Христос, – медленно сказал старик.

Был он костист, силен, плешив и вроде слеп – так безучастно смотрели мимо выцветшие глаза. Старик наклонил голову, под редкой сединой мелькнул вместо уха розовый стес. Иван открыл рот: Никола Пень!

– Никола? Ты? – спросил он обрадованно и неловко: когда уехал в Переяславль княжить, о Николе забыл. – Как ты до этого дошел?

Никола слегка развел жилистыми руками, не ответил. Он обнищал, постарел, но одет был в чистое рядно, и онучи холстинные выстираны, лыковые лапти обмыты.

– Возьми его к нам, одень, накорми. В сукно одень, – сказал князь отроку. – Вечером приведи ко мне.

Но старик даже не поклонился.

– Ты что, не узнал меня?

– Узнал…

– И то спасибо. Приходи вечером. Придешь?

Никола наклонил голову, но смотрел все так же будто мимо.

Иван улыбнулся и пошел к посаднику. Он был вдвойне доволен: и доброе дело, и себе польза – Никола славился своей прямотой, что сказал – то сказал, его за это и прозвали «Пень».

На пустыре перед двором посадника двое конюхов пытались поднять загнанную кобылу Гнедая от пота, с ввалившимися надглазинами, кобыла храпела, скребла копытом дерн; выкаченный зрачок дичал, боролся из последнего.

Из ворот навстречу князю торопливо шагал Петр Кучка. Они сошлись около издыхающей кобылы. Один из конюхов выпустил узду, распрямился:

– Нет, боярин, не подымешь – запалили до смерти…

– Загнали, – робко подтвердил другой.

Но посадник их не слушал. Он отвел Ивана за рукав, надвинулся грудью, взгляд его расщеплялся, не слушался.

– Беда, – сказал шепотом, – Тохта идет на Русь! – И, успокаиваясь по мере того, как немел Иван, объяснил: – Всю Орду поднял, вон гонца кобыла – от самой Рязани гнал… Что будем делать?

У Ивана в груди что-то осело со вздохом, как пласт, он подумал устало: «Вот оно, дождались!» – и наступило даже какое-то облегчение.

– Тохта? Сам?

– Сам…

Они встретились зрачками; их лица были одинаково жестоки от стиснутых челюстей. У крыльца развратно расхохотались Юрьевы челядинцы: кто-то их насмешил. Конюх снимал узду с неподвижной кобылы. Пестро-белая собака трусила по проулку меж заборами.

– Народ не знает. – Посадник облизал серые губы. – Хотел Кадьяка спросить – не пустил к себе. Знал бы я раньше…

– Во Ржев пошли. За Юрием.

– Пошлю…

– Припасов-то хватит? Из деревень везите. Башню-то скоро кончат?

– Скоро, – так же безразлично ответил посадник, махнул рукой, пошел обратно во двор. Широкая спина его сутулилась. Конюхи стояли у издохшей кобылы, смотрели с удивлением ему вслед.

В низкой палате было прохладно, полутемно. Иван сидел на ложе, вертел в пальцах нитку от пояса.

Здесь при отце стоял простой дубовый сундук, а зимой топили лежанку. Сейчас лежанку зачем-то разобрали, в углах был сор, сундук покрыли малиновым фряжским шелком с прошивными крестами и поставили на него поливные пиалы из Хорезма. Голубые с золотым узором, а внутри – пыль. Все это раздражало.

«С Батыя никто из великих ханов сам на Русь не ходил. Вся Орда. Этого не остановить. Никому».

Полдня просидел он на постели и ничего не придумал. Плечи обвисли, в кости словно налили промозглой мглы. Сидеть бы так год, два, ни о чем не думать…

Петр Кучка приходил, рассказывал, что и вторично Кадьяк его не принял, но велел зачитать ханскую грамоту ко всем баскакам о том, что-де великий хан золотоордынский Тохта по своей милости решил самолично навестить своих русских подданных и что-де это великая честь – никто из ханов им такой чести не оказывал. Он первый несет мир на Русь, и надо всем его встречать с любовью, страхом и благодарностью.

Ехал Тохта небывало – водой, вверх по Волге, с двадцатью царевичами-чингисидами, с женами, детьми, псарями, шаманами, музыкантами и прочей свитой. Берегом гнали три сотни кобыл для кумыса.

А войска будто с ним нет – только охранная тысяча «синих» сайджутов.

Но рязанский гонец рассказывал, что не тысяча, а двадцать тысяч, два тумена, да сзади подтягивается из Дикого Поля еще туменов пять-шесть.

Врет Тохта. Кто ему поверит? В наше время отцу родному нельзя верить, не то что… Но зачем это ему? Дань платили исправно, мастеров и товары шлем в Орду, когда надо, и войско – вон ростовцы два полка посылали аж на Абескунское море, князей он ставит, как хочет, что скажет, то и сделаем. Скажет завтра: «Ходи раком!» – и пойдут, все пойдут. Вон Юрий и на дому уже в татарской мурмолке ходит… Зачем же руку кусать, которая тебя кормит? Ведь все истопчут, пожгут, разгонят. А сами горшка слепить не умеют. Зачем? Ведь не дурак же он, Тохта, хозяин: двадцать лет не разорял, дороги провел, пустил ямскую почту, купцов созвал от Ирана до Рима, столицу свою, Сарай, украсил дивно… Зачем же? Мигнет – и Москвы не будет. Да что Москвы! Что живет в мозгу твоем, Тохта, великий хан, сын Менгу-Тимура?

Бессмертного бога силою и величием дедов и прадедов Тохты великого слово татарским улусным и ратным князьям…

Так начинались ханские ярлыки. Иван наизусть выучил это. А кончались так:

…А кто ослушается или беспутно силу учинит против, то смертию да умрет…

Иван закрылся ладонями: из ржавой темноты смотрело подозрительными щелочками водянисто-отекшее лицо. Бесцветный рот никогда не улыбался, а над верхней губой под редкими волосинками копилась в ямке, как у всех людей, мелкая испарина.

Иван опустил голову: в лицо джихангира смотреть нельзя. Так четыре года назад стоял он перед властителем «ста народов», когда Юрий тайно послал его в ставку хана на Ахтубе.

Лучше б он не смотрел в это старческое опухшее личико, лучше б не родиться ему в этой рабской стране, где каждый день с утра надо заново строить в голове хитрое здание из лжи, страха, зависти и подлых улыбок. Привыкать и постоянно чуять, что все это напрасно,

потому что каждый день тебя могут отравить, а ты все равно будешь улыбаться, чтобы заодно не отравили твоих детей.

«Да мы и есть все отравленные, – сказал Иван. – И давно уже так и ходим отравленные, и пьем, и едим, и детей зачинаем, серебро копим, кичимся, а внутри – гниль… Привыкли, не отвыкнем теперь. Все это знают, а не признается никто никогда…»

Он встал и начал ходить от окна к двери. Остановился, взял в руки голубую пиалу, повертел, нажал пальцем – отломился край; Иван покраснел, ударил пиалой об пол.

– Замети! – приказал вскочившему отроку. – Ступай. Стой! Коней накормите, соберитесь.

«Надо скакать домой, – думал он ожесточенно. – Что я сижу тут, как дурной? Может, они там у меня уже посады жгут. Пойду скажу княжне Ольге, чтоб Юрию передала, попрощаюсь – и в путь…»

Что-то же надо делать даже тогда, когда всякое дело бессмысленно. Он оглянулся напоследок: все здесь было ему чуждо – шелк этот, пиалы, мусор по углам. Да и дома, в Переяславле, что ему поистине дорого? А сам он просто, как человек, кому дорог? Иван усмехнулся неприятно: он подумал с удивлением, что по-настоящему он ни здесь, ни там никому не нужен.

Ольга, младшая дочь Константина Ростовского, осталась в Москве и после смерти своей сестры – жены Юрия при их дочери, княжне Софье, золотушной и запуганной девочке.

Была Ольга незаметна, молчалива, Юрий ее прозвал «монашкой». В его холостом доме она была не к месту, но распущенные Юрьевы холопы только ее и стыдились; только одна она могла занять место хозяйки за столом, когда приезжали родовитые гости с женами, только ее просил говорить Юрий с духовными лицами по щекотливым делам.

Жила она на отшибе в старом тереме покойной княгини. Иван пошел туда не проулком, а напрямки – через сад.

День так и не разгулялся, сырая пасмурность глушила шаги. На старых яблонях пожелтели края листьев, белый налив гнул ветки, кое-где паутиной затянуло янтарные наплывы на коре; малинником заросли гнилые столбы, в сером пруду тонуло матовое пятно – где-то пряталось солнце. В этом пруду они с Юрием мальчишками ловили карасей, но сейчас в это не верилось. Хотя голые пятки вспомнили засасывающий ил, а живот – через рубашку – холод поднимающейся коричневой воды и тусклое золотистое биенье плоских рыбин меж ивовыми прутьями верши, их живую скользкую тяжесть, запах тины, чешуи, ряски.

Ольга на открытой галерейке перебирала ягоды, от скрипа ступенек выпрямилась, встала.

– Не сердись, Ольга, что наскоком – я попросту, как родич: зашел проститься, а Юрию скажешь, что не мог ждать.

Иван говорил, не глядя на нее: его заинтересовали щенки в корзине у двери. Тупорылые, мохнатые, они тыкались носами в соски, налезали друг на друга. Сука прижала уши, беззвучно оскалилась, виляя хвостом.

– Это чьи ж? Не от Болтая?

Княжна не отвечала, Иван поднял голову, напрягся, насторожился: серые глаза смотрели на него в упор, исподлобья, медленно темнели.

– Проститься? – повторила она глуховато.

Порозовела пятнами нежная шея, мочка маленького уха. Иван впервые заметил, какая у нее молодая острая грудь. Он вообще как бы впервые ее заметил. Мягкий сумрак из сада высвечивал тонкий пух на виске, пальцы теребили косу, рот улыбался беспомощно. Такой он ее не видал, да и никто не видал. Он проглотил комок смущения.

– Надо ехать, ты, верно, слышала: сам Тохта, а у меня не готово, а Юрий вызвал и пропал, день пропустишь – год не наверстаешь, ты сама понимаешь, я бы подождал, да дело не ждет, – быстро и бессвязно говорил он, как бы оправдываясь.

– Не ждет, – повторила она, все так же непонятно глядя исподлобья. В глубине расширенных зрачков что-то перемещалось, надвигалось мерцающими гранями; теперь и уши и лоб ее сплошь порозовели.

– А может, еще врут про Тохту, может, я и задержусь здесь, – продолжал он, не думая, что говорит, и остановился: от новой, детски-открытой улыбки она стала прекрасной. Он никогда не видел такой улыбки, хотя знал Ольгу много лет.

Он отвел глаза в сад, стараясь собрать мысли. Туманное пятно в пруду просветлело, заклубилось, все стало отчетливее, сочнее: и толстая листва, и трещинки в коре, и лоснящиеся белые яблоки. В увядшем малиннике сквозь черные прутья прозрачно заалели редкие ягоды. Нет, один раз эту улыбку он видел…

Года три назад приехал в Москву по делам. Старый сад уцелел от пожаров, и трава меж яблонь выросла по золе густая, выше колен. На рассвете все было в крупной матовой росе, холодной, как лед. В росе отражались розоватые облачка. Он вышел в сад спозаранку – только первая птичка зачирикала – и увидел Ольгу. Она бежала куда-то, метались косы, трава хлестала по коленям. Заметила его и вспыхнула, промелькнула. Вот так же. А в доме – никогда. По пояс вымокла в росе, подол прилип к ногам, и он словно почувствовал, как холодит мокрый подол ее сильные круглые колени. Но улыбка – как у ребенка. «Чего скачешь ни свет ни заря!» – крикнул он, когда пробежала, и забыл ее. На реке молоком слоился туман, только торчала труба у кузницы, черно-серое мешалось с белым, вода просвечивала, как через рядно. И все.

– Нет, Тохта придет, – сказала она, продолжая улыбаться, и он понял, что ей все равно, придет хан или нет, если он останется.

Он испугался своего незнакомого волнения, он не знал, что говорить, да и говорить не хотелось. Разум бесстрастно подсказывал: «Не бывать этому: ты и она – насквозь разные».

– Насквозь… – проговорил он и почувствовал, что сам краснеет. Этого с ним не случалось с детства.

– Что? – чутко сдвинулась она.

– Нет, это я так… Ольга, о Господи!

«Да, да!» – безбоязненно подтвердили ее глаза, и от этого волнение в нем стало пронзительным, перехватило горло, он не испытывал этого прежде ни с кем, он даже слова «нежность» не знал.

– О Господи, Ольга! – сказал он только, повернулся, ломая себя, сбежал со ступенек и крупно, ожесточенно зашагал по саду обратно.

Он шел один и объяснял ей искренне, бестолково: «Все я пропустил, Ольга, не так жил, женился, уехал». – «Да». – «А ты из-за меня не уехала». – «Да». – «Андрей Рыльский сватался, не вышла, тоже из-за меня?» – «Да». – «Стар я для тебя». – «Нет». – «Не так я смотрел на все, на росу эту, на яблони, бес меня тащил, Юрий, наше Дело, ты понимаешь?» – «Да. Нет». – «А теперь поздно…» – «Нет». – «Разные мы – насквозь». – «Да». – «Но и „это“ – насквозь». – «Да». – «Только ты меня полюбила, насквозь“». – «Да». – «Лучше в смерти, но вдвоем…» – «Да». – «Но ты еще надеешься?!» – «Да». – «На что? (Молчание.) На что? (Молчание.) Что же делать? Бежать?» – «Нет». – «Может, я с ума сошел?» – «Нет». – «Но ты любишь меня за меня?» – «Да». – «Давно?» (Молчание.) – «Я же чужой и ослеп ради Дела. Любишь все равно?» – «Да». – «Я начну с начала: все равно конец – Тохта». (Молчание.)

Он шел, не разбирая тропы, давя опавшие яблоки, они хрустели, брызгали соком на сапоги, перебродившим вином пахла рыхлая земля.

Он впервые увидел, что в нем два Ивана. Первый с отрочества жил Делом-Государством. Второй остался в детстве, а сегодня воскрес. Первого он берег, кормил, учил, выхаживал много лет. Над вторым посмеивался. Первый действовал умно и всегда – в темноте, а на свету тайно наслаждался изумленными лицами врагов, которые мешали Делу и внезапно падали, озирались: кто их сбил? А он, Иван-первый, укреплял еще одну спицу в колесе. Дело – Колесо. Он

его пустил, но потом Оно само завертелось, втянуло его в спицы и пошло махать, набирая силу. Дело – тело… Да, его тело крутилось в Колесе все быстрее, выше – и не выбраться, но он сам продолжал четко думать, направлять, радоваться тайной своей власти над Колесом. Власть была в разуме, в голове Ивана-первого, и он эту голову берег, как золотую, от вина, от баб, от всего, что мешает вертеться беспощадному мудрому Колесу. А теперь у Тохты заболит печенка, и процедит он как-нибудь брезгливо: «Колесо – сжечь». И все.

Но иначе он, Иван-первый, все равно не мог жить: он родился государем, а не бондарем или конюхом. Он не виноват в этом. Он не жалеет ни о чем. Только вот сегодня не то: Иван-второй проснулся и плачет где-то под спудом, как младенец…

«Ольга, ты одна меня не бросишь, если Тохта по миру пустит… Если б меня ранило здесь, я б к реке уполз, а оттуда – в лес, и ты со мною, а потом хоть в Литву…»

Лоб его горел, губы подрагивали. На миг захотелось, чтобы это исполнилось: пусть сожгут Москву, пусть все исчезнут, кроме него и ее. Иван-первый знал, что это – противоестественно, безумно, а Иван-второй обрадовался выходу. Они поменялись местами, но так срослись, что первый стал подсказывать, рассчитывать это безумие для второго: ведь появилось новое Дело.

«Одежду надо переменить, заранее подготовить, золото и камни ценные на теле спрятать… Шли бы тропами, с беженцами, на Псков. Где-нибудь лошадей купили… На Новгород нельзя – срам перед посадниками… В Литву либо к ляхам. Спали бы с ней на траве, под елями, молоко пили – много ли человеку надо?..»

Перед задним крыльцом держали оседланных коней, и все – конюхи, слуги, опоясанные суровые дружинники – с удивлением смотрели на князя, который шел, сжав челюсти, потупясь. Княжий конь втянул воздух, заржал. Иван поднял голову.

– Вы чего тут? – спросил он, перебарывая свое лицо.

– Да ты, князь, приказал…

– Разнуздайте. – Он опять говорил сухо, четко, но не мог вспомнить чего-то простого. – Да! Завтра поедем. Ко мне не пускайте никого.

Он прошел к себе и сел на постель, не снимая шапки.

«…С нею спал бы в траве, обнимая, дышал в пух под косою… Утром проснулась бы, а заря в глазах – как в озерах, в тумане… Не надо нам ничего, кроме друг друга. Говорят, бывает так среди людей. Раз в сто лет… Душа и тело перелились друг в друга…»

На дворе плотники стучали топорами, перебирали верх угловой башни. Раньше он любил этот хозяйский перестук, а сейчас это мешало. Раньше она просто девчонкой была, долгоножкой, а потом никем – сестрой братиной жены.

…В тот день, когда он уезжал княжить в Переяславль, она еще подростком была. Садясь на коня, заметил, как опрокинулась с крыльца простоволосая головенка, отчаянные глаза, удивился: «Чего это она?» – тронул рысью, тут же забыл. Девять лет назад. Где они, эти девять?

Он сидел, покачиваясь, горько прижмурясь. Что-то проклевывало, протачивало в груди слева, а потом хлынуло, и он дал волю памяти, хотя болело от этого сильнее. Но в боли-то и была жизнь, а раньше он этого не знал.

…На пиру у Юрия (справляли сорокоуст) повел ее на место, взял за руку. Ладонь, несмелая, теплая, замерла, только жилка в запястье бьется так сильно, что отдается в нем. «Это сердце ее стучит так сильно? Почему?»

…На Преображенье в прошлом году сказала: «С праздником!» – и вся порозовела, а глаза расширились и точно взмолились, а он, дурак, только кивнул ей, и все, но весь обед, помнится, был весел, шутил так, что даже Юрий улыбался, а она сидела подурневшая от угрюмой складочки меж бровями, но он ничего не понимал, да и понимать не хотел.

…В тот же год зимой она со слугами снимала в большой палате стенной ковер, который залили жиром, а он с Юрием сидел у печки и говорил про Новгород и Тверь: что надо сделать, чтобы их поссорить. Он тогда сказал что-то умное, коварное, Юрий согласно закивал, а она

обернулась и глянула на него, на Ивана, через стол, и губы ее приоткрылись, а ресницы задрожали. Он удивился мельком: не от его слов она изменилась, она, видно было, и не слушала, а от чего-то подступившего в ней к горлу, затемнившего разум, от чего-то, что теплой волной залило ее и его коснулось нечаянно.

«Неужели, Ольга, ты меня уже тогда любила?»

Она заметила, отвернулась резко так, что мотнулась коса, а он потерял нить разговора и рассердился на себя, замолчал. В левой груди заныло сильнее, он стал растирать грудь, но не проходило, и он был рад: это нежность болела. Он вспомнил наконец это слово, которое всегда презирал.

От удара тягучей бронзы задребезжал пузырь в оконце, удары сдвоились, зачастили – набат! Народ звали на вече. А какое теперь вече? Не поможет теперь ничего. Только татар разозлят. Дурак посадник: зашьют его ордынцы в волчью шкуру и бросят голодным псам на ханском пиру, как Олега Рыльского. Ничего не поможет. Иван вытащил нательный крест, прижал ко лбу теплое серебро. «Поздно, не поможет. Вот оно – чингисово „блаженство человеков“: „…победить врага, вырвать его из корня, взять то, что он имеет…“».

«Зачем, Господи, всех нас с корнем? Зачем? Ведь тогда и ее тоже…»

Он вспомнил, что не первый спрашивает: Чингисхана спросили об этом жители разгромленной Бухары, и он ответил: «Я есьм казнь Господня: если б не было у вас великих грехов, Великий Бог не послал меня на вашу голову как казнь».

Но Иван Данилович не знал за собой великих грехов. Он знал давно другое: спрашивать бесполезно. И все-таки хотелось кого-нибудь спросить. Он открыл дверь, приказал:

– Приведите старика того, Николу. – Подумал, прислушиваясь, как набатом гудит уже весь воздух, Кремль, заречье и дальше. От этих ударов всегда сжималось, огрубевало все в нем, как перед резней, и он становился зорким, скупым, деятельным. Но сейчас только сказал: – А ты, Андрей, сходи на вече, узнай, чего они там шумят… – Он еще подумал: – Меду мне принесите. Да покрепче.

Никола Пень сидел, чинно поджав губы, в новом суконном кафтане. Но ветхую рубаху свою он не сменил. Большие венозные руки были сложены на коленях, выцветшие глаза безучастны, хотя у князя сидеть в гостях было для него невиданной честью.

– Ты прости меня, Никола, – говорил Иван Данилович, – забыл я про тебя за делами. Но как ты до того дошел, что с рукой ходишь? Да ты пей, давай за супругу твою выпьем, как ее…

– Супруга моя, – Никола посмотрел на чашу с медом, – Орина, померла давно. Когда Таир-хан приходил.

Князь молчал.

– Так где ж ты живешь теперь?

– При монастыре. Кормят по воскресеньям.

– У тебя ж двор был свой.

– Двор мой Юрий Данилович отнял.

– За что?

Никола пошевелил узловатыми пальцами.

– Такова его воля…

– Ну, я тебя в Переяславль заберу. Хотя и там теперь… Не знаешь сам, где теперь… Что князья, что убогие – все теперь… – Иван задумался. – Да я тебя не за тем позвал. Ты моего отца слуга и мне служить будешь. Вот зачем, вот оно как…

Он все сбивался, отвлекался: за всеми мыслями и словами плавала, как нежная боль, Ольгина незнакомая улыбка, яблоневая падалица мягко вдавливалась под каблуком, и ему становилось жутко.

Никола покачал лысиной, бледно усмехнулся:

– Стар я за соколами скакать.

– Не за соколами…

– Все одно – стар.

– Стар! Стар! По папертям бродить не стар?

– То дело Христово.

– А у меня какое?

– У тебя, князь, где Божье, а где и бесовское.

Иван Данилович нахмурился и рассмеялся:

– Все такой же ты, старый. Вот за это и беру тебя. Слушай: будет у тебя такая служба, какой ни у кого не было. Князьям все льстят. А ты будешь мне правду говорить. Я же тебя одену, накормлю, серебра дам. Понял?

Никола долго не отвечал, шевелил пальцами, подымал и опускал редкие брови.

– Нет, Иван Данилович, правда – она задаром.

– Хорошо. Пусть задаром. А ложе мне стелить, сон караулить – это работа?

Никола кивнул.

– Я не шучу. – Иван Данилович стал серьезен, отпил меда, поставил. – Все у меня ладится, вот князем стал, женат, ну и добра хватает, а все сосет и сосет. Вот тут. – Никола глянул блекло, без удивления. – Тут. Хана так не боюсь, как самого себя. Печаль-тоска какая-то, а теперь еще… Что это?

– Это? – Старик насупился. – Это смерть.

– Как – смерть?

– Читают нам Апостола. В трапезной.

– Ну?

– Сказано там: печаль ради Бога, она к покаянию всегда. Ко спасению, значит. – Никола замолчал, припоминая. – А печаль мирская производит смерть.

Ночь за бревенчатой стеной дышала трудно, влажно, как в забытьи. Коптила сальная свечка. Где-то на стенах тоскливо перекликались караульные. Ольга тоже слушает их – не спит. Никто не спит сегодня в Москве, в селах: на вече по приказу баскака читали ханскую грамоту о чести и мире, но никто не поверил Тохте: мира от Орды не бывает.

– Да… А дождя все нету, – задумчиво сказал Иван. – Что ж мне делать, Никола?

– Не знаю, князь.

– И я не знаю. Может, как Андрей Смоленский, сбежать? От мира этого, от всех.

– Тебе, князь, никуда не сбежать.

– Почему?

– Ты мир любишь.

Иван Данилович почувствовал, что устал.

– Не люблю, а должен, ведь я – государь, государство свое строю, для вас же… – нехотя объяснил он.

– Нет, любишь.

«Воистину – пень! Но я сам навязался к его правдолюбию. Надо бы про дело спрашивать, а не…»

– Кто это псалмы поет под Тайницкой башней? Я давеча гулял, так слышу из-под земли кто-то: «Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых…» Ты не бойся – я у Юрия спрошу, я знаю, кто там под спудом…

– Коли знаешь, дак зачем…

Никола тоже устал: он крепился, но рот сжался, веки подрагивали, моргали.

– Ну ладно – выпьем лучше. За детство мое раннее, за зеленые садочки. – Иван выпил и смотрел, как осторожно тянет Никола.

Старик поставил чашу, отдулся, отер пожелтевшие усы.

– Князь Святослав Можайский, – сказал он хрипло.

– Ну? А раньше только рычал, матерился.

– А сей год с весны поет.

Иван поморщился: Юрий узнает, что идет Тохта, и велит Святослава убрать, как Константина Рязанского. Во рту стало противно.

– Не знаем своей судьбы… Думал ли Святослав, что вот так вот, как теперь он… – Иван сглотнул слюну, опять поморщился.

«Знает ли Ольга, кто сидит под башней?»

– Своей судьбы не угадаешь. Ты как думаешь, Никола? Взять хоть тебя…

Старик потупился сурово, ввалились ямы под скулами.

– Бог открывает. Иногда, иным… Княгиня Ксения Тверская, говорят, свою кончину угадала…

– Какую кончину? – Иван оперся о стол, привстал. – Да разве она померла? Когда? Я почему не знал – ведь мы к ней живем ближе?

– Померла, упокой ее, Господи, – строго сказал Никола. – Вчера в монастыре говорили – к баскаку прибежал гонец…

– Да, они быстрее наших… Кто бы подумал! Ты видал ее когда?

– Видал, давно только. – Никола встал, покрестился, пожевал запавшим ртом. – Спасибо, князь, за милости, но пошел я, стар стал – покоя кости просят…

Иван Данилович тоже встал, положил ладонь на широкое костлявое плечо:

– Ну, иди с Богом… Будешь мне служить?

Никола смотрел в пол, молчал, только билась толстая жила на виске.

– Жизнь моя на перепутье, – тихо признался Иван.

– Останусь, – также тихо обещал Никола и медленно пошел к двери.

Сразу стало пусто. В отсыревшей полутьме лоснился ядовито венецианский шелк, в бревенчатых углах скапливалась безнадежная глухота. Иван лег на ложе, закинул руки за голову. Сухие зрачки бегали по низкому потолку. Ольга смотрела на него неясно, непонятно, все дальше, тускнело облачное пятно в пруду под яблонями. Вот не стало Ксении Тверской, и земля опустела.

Один человек ушел, а пусто. Почему?

Старую княгиню видел он дважды: лет пятнадцати во Владимире, когда князья спорили за Переяславль. И через год, когда отец покумился с Михайлом Тверским против великого князя Андрея. Недолго то кумовство длилось, а как, говорят, хотела их дружбы Ксения.

Может, правда, она прозорлива была? Никогда теперь они с Михаилом не помирятся…

Во Владимире в соборе стояла Ксения прямо, крестилась редко, но все лицо ее, доброе каждой складочкой, тихо, радостно молилось. Он поглядел украдкой и смутился. После молебна, проходя мимо, положила ладонь ему на макушку, взъерошила слегка, и он через эту мягкую ладонь почувствовал все ее незлобивое тепло ко всем людям. Он хотел, но не мог рассердиться, что его гладят по головке, как маленького.

А второй раз отец ездил в Тверь и взял его собой. Они пришли поздороваться с княгиней. Ивану она улыбнулась, как мать, а на отца его, на Даниила, смотрела испытующе-терпеливо, пока он говорил, и Даниил сердился, но сдерживался. Иван не разобрал, что она тихо так сказала в ответ, но заметил, как у отца покраснел лоб, испугался, что отец сейчас прикрикнет, как дома. Но Даниил только опустил глаза, сказал сквозь зубы: «У тебя своя правда, у меня – своя, хоть ты и права, княгиня, но я по-иному не могу», – чинно поклонился и вышел. Во дворе он шел, опустив голову, а когда Иван что-то сказал, огляделся, будто заблудился: «Чего ты?» – «Да так, ничего, коней ты хотел купить». – «Коней? Ха! Какие теперь кони?..» – непонятно ответил отец, хотя всю дорогу до Твери то и дело повторял, каких бесценных коней можно купить на тверской ярмарке.

А еще узнал он Ксению в одной нищей, изумился сходству. На паперти Рождественского собора в Суздале увидел он прямую, всю в черном женщину с чисто промытой, даже сияющей какой-то сединой и под платком. Даже улыбка у нее была Ксенина: когда он подал ей деньгу, покачала головой, сказала: «Спаси Бог, батюшка, я свое получила, ты вон ей подай», – и показала на безрукую девочку в рванине. Потом Иван спрашивал и узнал, что зовут ее все в Суздале матушка Анна, что мужа и пятерых сыновей у нее замучили татары Неврюя, а сама она не пошла к богатым родственникам, а странствует по местам, и где хуже, там дольше живет.

«В земле теперь и отец, и Ксения, и многие другие. Где они?»

«Не наша это порода, и Ольга – не наша, и Ксения… Ольга!»

В темноте потолка забрезжило, проступили пристальные зрачки и тонкие волосы над маленьким ухом; затопило внезапно сожалением; он не знал, как с ней обращаться, он мог только лежать и смотреть, удерживать, повторять: «Ольга! Ольга!» Он закрыл глаза и повторял это имя, в котором как бы слились два имени и еще чье-то третье, забытое, неизреченное, и здесь мысли беспомощно обрывались, а подступала горечь, сознание, что никогда он не получит ее силой, хитростью или преступлением. Можно было нести ее в ладонях через темноту год, два, десять, не прикасаясь губами, а только согревая дыханием, но не больше, и бояться запнуться, упасть, потому что тогда все будет разбито непоправимо. Но даже это – нести ее вот так – он мог, только отказавшись от всех лживых дел, какими бы законами и правами они ни были бы оправданы. Он понял это и почувствовал настоящее горе.

«Пойду завтра к ней, скажу: не могу тебя бросить здесь в такое время. Да, я останусь!»

Он встал и начал ходить взад и вперед, улыбаясь этому решению. Он останется, горе тоже останется, но в будущем, а не завтра – завтра он ее увидит. Больше пока ему ничего не надо.

По двору за стеной всю ночь скрипели колеса: в Кремль везли муку, зерно, соль, смолу, брони, кожи и другие ратные припасы.

II

Топотали по голове, по ребрам, а рот не мог крикнуть: язык распух, как бревно, и тело напряглось, но не могло вскочить, бежать: «Набег!» Глаза открылись, бессмысленно обшаривали незнакомые стены, мусор по углам. Иван сел и проснулся, понял по смеху за дверью, что это не набег, а Юрий приехал.

Тускло брезжил рассвет, Иван Данилович на постели никак не мог выйти из сна. Сон был достовернее этого сундука и неприбранной посуды на лавке. Во сне (или наяву?) он с кем-то невидимым, но теплым, любимым шел по лугу вдоль реки и беседовал о самом важном на свете. Он забыл, о чем они говорили, но этот невидимый друг так понимал все сразу глубоко и безмолвно отвечал, и они радовались вместе, потому что трава после дождя была сочно-тяжелой, а в траве ярко белели густые ромашки. Он ощущал, уже проснувшись, каким радостно-невесомым было все его тело – шаг переносил на пять шагов вперед и даже немного над травой. Это была страна, где не было и не могло быть ни Тохты, ни казней, ни Юрия…

Он ощущал, как эта страна медленно исчезает из него, и не двигался. Заснуть он больше не мог, но идти к брату не хотелось. Он лег на спину, натянул одеяло до подбородка и попытался холодно обдумать все дела. Но сегодня это плохо удавалось, надо было себя заставлять.

Тайная поездка Юрия к Федору Ржевскому была ясна: они сговаривались как-нибудь навредить Твери. Но сейчас поход Тохты все их планы разрушал. Зря посадник начал открыто укреплять город, но черт с ним… Зря заковали Святослава… Зря Юрий гнал всю ночь, чтобы его, Ивана, застать – ничего он ему не посоветует. Что тут советовать мошке против горы? Как Кадьяк донесет, так и будет… Надо задобрить его, надо к Тохте поехать – звать либо его, либо сына в гости. Грамоту составить льстиво, умно…

Голова думала, а тело вспоминало теплое дыхание во сне, чью-то чуткую тонкую руку. Спит ли Ольга? А вот и дождь. Дождь клонит в сон. Спи, Ольга, а мне уж не спать… Спит Ольга, женщина-ребенок, дождь шуршит по тесинам, по листве яблонь. «Что тут думать, – с досадой сказал он голове, – Тохта не гость, а бич Божий». Но это услышала и Ольга, медленно поднялись веки, медленно просыпались глаза, слабо улыбнулись губы.

«Если набег – Юрий бросит ее. Нельзя мне уезжать. Надо знать замыслы хана. Вот – надо заслать к нему Романца. И – ждать».

Рассвело совсем, но из-за дождя было серо, мертво, тускло посвечивала рукоять меча на стене. Пришли звать к Юрию поутренничать. Значит, брат так ждет совета, что даже не лег спать после ночи в седле. Это было на него не похоже. Будет ли за столом Ольга? Вот с чего надо начинать говорить. Нет, рано еще – не будет ее…

Но Ольга уже сидела за столом, когда он вошел, и на нее он сначала глянул, а потом на брата.

Юрий помылся с дороги, переоделся в шелковый клюквенный кафтан, причесал белобрысые волосы. Был бы он ничего со своим прямым носом и маленьким ртом, если б не близко посаженные глаза, всегда точно сонные. Но себя он считал красавцем.

– Здорово, Иван, – сказал он, как всегда не улыбаясь, подставил гладкую щеку. Щека была упругой, холодноватой, и вообще ночь в седле на нем никак не отразилась.

– А я было уехал, тебя заждался, – с упреком сказал Иван, но Юрий не слышал: он ел. Он внимательно разглядывал куски жареной свинины, выбирал, обгладывал, обсасывал, заедал моченой брусникой и опять грыз со смаком и благоговением. За едой он был глух и нем.

От жареной свинины Ивана мутило, он поел киселя и стал, отщипывая от лепешки, украдкой разглядывать Ольгу.

В дождевом полусвете она казалась чужой, ни разу не подняла ресниц. Голубая бисерная повязка охватывала бесцветный лоб, щеки опали. „Не спала!“ – догадался Иван, и сердце глупо застукало.

Юрий отодвинул блюдо, тщательно вытер рот и пальцы, глаза его чуть замутились.

– Поел? – спросил он. – Тогда… – Он глянул на Ольгу. – А ты, княжна…

Но Иван его опередил:

– Погоди, брат. Почему ты князя Святослава не выпустил? – сухо спросил он и сдвинул брови.

Это было так неуместно при Ольге, что Юрий приоткрыл рот. Иван махнул рукой:

– Ничего – ей теперь все с нами делить – Тохта идет.

Юрий еще не сердился, но гладкие щеки его начали розоветь. Голос Ивана стал скрипуч, неприятен:

– Я на тебя в большой обиде: позвал, сам уехал. Тохта пришел бы, а я один в ответе: почему без ханского суда удельного князя на цепь посадили? Отпусти его тотчас.

Иван замолчал: ждал – взглянет ли Ольга хоть раз?..

– Отпустить? – повторил Юрий. – Да ты что, грибов объелся?

– Грибы меня не берут, брат, – зло щурясь, предупредил Иван.

Юрий смотрел, ничего не понимая: и впрямь Иван рассердился. Но за что?

– Да ты же сам… – начал он, но Иван опять перебил:

– Делай что хочешь. – Он встал. – Это тебе мой первый совет. А теперь – прости: пора мне ехать. Может, у меня и Переяславля уже нет, пока тут спорим.

Он, не глядя, чувствовал, как чутко напряглась Ольга. Юрий пригнул холеный лоб, лишь одна морщинка прорезалась: Иван уедет и первый совет станет последним. Он сжал маленький рот, стукнул ножом о блюдо. Из боковой дверцы вылез огромный холоп, замер, как истукан.

– Иди, Звяга, в погреба, приведите сюда Святослава. Постой: цепь с него снимите.

Холоп вышел.

– Ха! Сам увидишь, как его выпускать. Сидит – никто не знает.

Иван повертел в пальцах шарик из мякиша, сплющил о стол.

– Кадьяк давно доложил о нем хану и о том, что ты город крепишь против него, тоже доложит. Эх, брат!

Это «эх!» подействовало.

– Почему против него? Против тверичей. Да ты сядь.

– Это уж как Кадьяк доложит…

Юрий уставился в солонку, глаза закосили. Иван сдержанно вздохнул, отвернулся. Знает ли Ольга его жизнь?

Долго стояла тишина. Наконец за дверью затопали, кто-то ругнулся, и стража втолкнула в дверь Святослава Можайского.

Он стоял посреди палаты, жмурился на свет. Был он бос, тучен, зарос пегой щетиной. Верхних зубов не хватало. Рубаха на нем поистлела, но по дороге набросили на плечи грубый плащ, и он придерживал его у горла одной рукой. По палате расползался запах отхожего места.

– Ты что ж, князь, – сказал Юрий насмешливо-равнодушно, – своих не признаешь? Взгляни – вот я, туточки!

Иван заметил, как Ольга прикусила губу. Он и сам не знал, что может выкинуть брат. Бегающие глазки Святослава отыскали Юрия, остановились, приклеились.

– Вижу, вижу тебя. Великий Хам! – прошепелявил он, втянул голову, зажмурился.

– Хам? Или, может, хан? А брат вот за тебя просит. Ха! Отпустим тебя, хоть ты и в скоморохи записался, но сперва целуй мне крест, что не будешь искать мести.

– Да, – подтвердил Иван.

Святослав не шевелился, от втянутой головы он казался горбатым, оплывшее водянкой сожмуренное лицо стало неживым.

– Ну? – Юрий хлопнул ладонью о стол. – Не придуряйся, князь, дашь клятву?

Через тюремную вонь Иван все пристальнее вглядывался в безглазое опухшее лицо – кого оно напоминало? Да, отрубленную голову Акинфа Ботрина.

– Вина ему дать, что ли, – тихо посоветовал он.

Ольга неслышно налила, подошла, тронула за плечо. Святослав вздрогнул, пустые дыры уставились в Юрия, незнакомый голос запричитал с присвистом:

– Горе тебе, Великий Хам, трупом станешь меобрезаммым, да, да! Ме покломяемся трупам, мет, мет, идолам погамым! Горе, о горе, сейчас ме хочу, вима ме хочу, поем и лягу, лягу с тобою…

Он оттолкнул Ольгу, у нее задрожали брови, вино плеснулось на пол. Иван привстал, Юрий поцокал насмешливо:

– Придуряешься? Брось, я и так отпущу. – Он повернулся к брату. – Вишь чего придумал, лучше уж матерился бы; упорен, боров, хоть бей – не перестанет!

– Погоди-ка… – Иван чуть побледнел. – Постой-ка, Святослав! – громко позвал он. – Очнись! Это я – Иван Переяславский. А это – Юрий. Выпей, успокойся.

Но Святослав его не слышал.

– Поем и лягу, поем и лягу, – шептал он, подвигаясь к столу и захватив с блюда горсть жареных шкварок, запихал в рот, давясь, трясясь, зажевал, зачавкал.

Юрий брезгливо поморщился.

– Себя позоришь, Святослав. Ведь ты князь. Или нет? Кто ты, а?

Святослав выплюнул шкварки, резко воздел руки и закричал, брызгаясь, наливаясь:

– Я – пророк Иезекииль, я – гнев Господень! Горе тебе, пес татарский, великий, непобедимый, будь проклят, Тохта меобрезаммый!

Голые руки его оказались костлявы, на пухлой груди выступила испарина.

– Горе тебе! – сучковатый палец сверлил воздух против Юрия. – И было ко мне слово Господне в девятом году, в месяце… в месяце… Не помню, не помню месяца!

Он всхлипнул. Никто не дышал. Иван с жалостью смотрел на Ольгу: глаза ее наливались ужасом. Святослав потряс воздетыми руками, ветхое рубище треснуло на плече.

– Так говорит Господь Бог – вы едите с кровью. И подмимаете глаза к идолам. И хотите владеть землею? Осквермяете жему другого… И хотите владеть землею?

Вой его стал нечеловечен, водянистые щеки тряслись.

Холопы тащили старика к двери, но кривой палец все обличал, голос не умолкал:

– Жив я! Одми падут от меча, а тех, что на поле, отдам зверям на съедемие! Зверям, зверям!

Ему хотели зажать рот, но он уперся в притолоку, задыхаясь, пророчил:

– И сделаю землю пустымею из пустымь, и гордое могущество ее перестамет!

Крики его удалялись, оборвались. Ольга сидела, закрыв лицо.

– Ну, Ольга, – сказал Иван. – Не надо, ну что ты.

Она отняла руки, взглянула прямо.

– Что вы с ним сделали? – спросила с отвращением.

Юрий моргнул, побарабанил пальцами по столу. Иван не ответил. Она встала, накинула покрывало, вышла быстро, гневно.

– Да-а… – Юрий налил себе. – Чего это она? Дура…

– Оставь ее. – Иван хотел отвлечь его от Ольги. – Проиграли мы это дело, теперь хоть другое выиграть: иди тотчас к Кадьяку бить челом о чести, надо опередить его донос, надо звать в гости хоть сына Тохты – Антяка.

– Дурак Петр, – сказал Юрий, – от всей Орды не оборонишься.

Лоб его стал сытым, довольным: брат остался, а Святославу кто теперь поверит, безумному? Ольга, правда, знает… Что это с «монашкой» сегодня? Но он не любил и не мог думать сразу о многих делах, особенно о далеких. Он вообще ни о чем не думал, пока не возникало желания. Желание сначала подсасывало, потом всасывало и заполняло все. Тогда, что бы он ни говорил или ни делал, он думал только, как его осуществить. И сейчас, слушая Ивана, он думал о Федоре Ржевском. Однако Иван ждал ответа.

– Да, пойдем к Кадьяку. Ты бы приоделся понарядней.

– Наряды мои в Переяславле.

– Ну, я тебе дам. Да бояр возьмем поосанистей… Эх! Митрополита нет.

– Позови игуменов из Данилова, из Богоявленского, пресвитера Иоанна – он у тебя самый осанистый.

– Это – дело.

Юрий встал. Иван смотрел на лужу вина на полу, где Святослав оттолкнул Ольгу. Мухи ползали по краю, мочили в луже хоботки. Пусто стало в палате, никчемно, когда она вышла, в голове все отдавался беззвучный вой сумасшедшего. Он знал, что она сейчас у себя сидит, уставившись в стену, и тоже слушает этот вопль. Повязку она сняла, и тяжелые волосы покрывают ее плечи, стиснутые пальцы. Если б он мог погладить ее по голове, утешить…

И в Москве «ханский двор» был внутри Кремля. Но Кадьяк все лето и осень жил в другом своем дворе, за посадом. Там он занимал целое урочище с лугами, садами и рощами от устья Яузы вверх – вдоль дороги на Коломну.

Бревенчатый тын мокнул на бугре, а в пойменной низине чернели юрты, паслись по колено в болотном тумане терпеливые монгольские лошадки.

С утра как зарядило, так и не распогодило, молчали птицы, рябило лужи в глинистых колеях, шуршало монотонно в редком осиннике.

Кадьяк вышел на крыльцо, кутая руки в длинных рукавах, долго смотрел на табун, на речку. Водяной пылью с крыши бросало в лицо, но он ни разу не сморгнул. Тоскливая земля, чужие леса, непонятный народ.

Осинка под ветром трещала надоедно багровыми листьями. На лугу табунщики разложили костерок, низкий дым стелился по осоке, пропадал в тумане. Угрюмый народ, двуличный, упрямый. Дурной день. И вчера был такой же. В чем сила джихангира? В молчании. Поэтому даже он, Кадьяк, сын сестры жены ханской Коты, не знает замыслов хана. Или Тохта действительно хочет лично проверить свой улус, все урусутские княжества, и сам собрать и повести огромную дань. Или он хочет истребить весь их кичливый род одним ударом. Второе было бы мудро: отсечь голову, а тело смердов отдать нойонам. Тело будет работать и без головы и станет еще послушнее. «Но я ничего не знаю наверное», – сказал Кадьяк. Он почувствовал, как в нем поднимается кощунственная ненависть. «Я, сын Ачисана, правнук Байдара – нойона самого Батухана. Меня загнали в это захолустье, а Бердедат ниже меня родом, но сидит в стольном Владимире». Он слизнул дождь с верхней губы, вода была безвкусна. Если не верить, то вся жизнь будет без вкуса и запаха. «Нет, Тохта мудр: здесь, а не там узел дорог. Он справедлив ко мне. Он мудр, что молчит со мной и со всеми нами: змея будто дремлет, но удар ее всегда неуловим».

До Москвы Кадьяк, несмотря на молодость, был баскаком при бухарском эмире, путешествовал через пустыни и хорошо знал повадки змей. Сравнение успокоило его: чтобы жить, ему необходимо было верить в то, что у великого нет изъяна. «В Тохте – священная кровь чингисидов, корни Святого Неба, начало начал моего народа. Его путь – мой путь. В этом наше единство, ублюдки не понимают этого и не поймут».

Вчера ночью Кадьяк послал донесение джихангиру: Москву укрепляют. Если Тохта заподозрит измену, то нанесет удар первым. И тогда он, Кадьяк, истребит род Юрия и подскажет

через Коту великому хану свою заветную мысль: «Сделай со всеми, как здесь, и мы не будем держать на Руси те тумены, которые нужны, чтобы тебя боялись и в Карокоруме…»

Дальше он боялся думать: такие мысли могут опередить поступки и быть разгаданы. И тогда его вызовут во дворец Улджэйту и сломают хребет перед очами кагана всех монголов.

По дороге из Москвы скакала кучка всадников. Кадьяк зорко прищурился: по толмаческому знаку на пике он понял, что это гонец от князя. Он подождал, пока всадники спешились, не доезжая до ворот, придирчиво прикинул обязательное расстояние. Толмача и гонца опросили и впустили во двор. Толмач заметил на крыльце смуглое тощее лицо и еще раз прокричал:

– Вестник от князя Московского Юрия Даниловича к баскаку великого хана, да хранит его Небо, Кадьяку, нойону и багатуру, храбрейшему из храбрых…

Кадьяк, недослушав, громко сказал вниз:

– Передай гонцу Юрия, что я сплю и не велел будить – сегодня плохая погода.

Он повернулся и не спеша вошел в дом.

Он действительно лег на подушки, но спать не собирался. Эта комната – его любимая – вся была завалена подушками, желтыми, как золото, с черным узором по шелку, и стены затянуты китайскими тканями с драконами и цветами, и низкий лакированный столик, и ларцы из кости, и маленькие статуэтки лысого сутулого старика – все было из Китая, культуру которого Кадьяк почитал превыше всего, хотя был истым монголом. Он ждал, когда ему донесут, зачем приезжал гонец. Когда ему доложили, что гонец предварял посольство из Москвы во главе с самим Юрием, он подумал, приказал:

– Послов пусть примет Кара-Кучук. А я пойду к своим женам.

Даже когда он повернулся спиной, его тускло-черные немигающие глаза ничего не выражали, кроме высокомерия. Нукеры и слуги со страхом смотрели на его тонкую шею, торчащие уши и щуплую напряженную спину. Он шел не торопясь, мягко ступая сапогами зеленого сафьяна, двери сами открывались и закрывались за ним.

Но Кадьяк пошел не к женам: с заднего крыльца он спустился в сад, через мокрые кусты боярышника вышел на травянистую расчистку. Березы были вырублены далеко вокруг. Посреди поляны стояла войлочная белая юрта. Войлок потемнел от дождя, но внутри было сухо. Кадьяк сел на карачки перед холодным очагом, застыл, нахохлился, как тощая хищная птица. Через верхнюю дыру на холодный пепел изредка срывались чистые ледяные капли. Он следил, как пепел впитывает их без остатка, и постепенно его глаза стали одинокими, горькими. Таким Кадьяка не видел никто.

В эту ночь разогнало хмарь, очистило холодные звезды. Иван, закинув лицо, долго смотрел в зенит, в мерцающие пропасти Млечного Пути, ждал, не сорвется ли искра, чтобы загадать судьбу.

Но искры не было, хотя стоял конец августа. Руки и спина застыли.

Он давно не смотрел на небо ночью, разве что сбившись с пути на охоте. А вот так не смотрел с детства. Небо втягивало и пугало, отнимало бездонностью все мысли. И без того последнее время он разучился мыслить четко и связно; он мало спал, почти не ел и ни с кем не говорил. Подспудно проживала в нем против воли некая тупая полуболь, которая переходила в ожидание, когда он видел Ольгу, и разгадывание каждого ее движения, оттенка голоса или взгляда. Но свой взгляд надо было тщательно скрывать от всех. Он жил в Москве уже третью неделю, но больше не встречался с ней наедине. Он удивлялся на себя иногда: почему бы ему не сойтись с ней, Юрий был бы только доволен. Была, конечно, заповедь: «Не прелюбы сотвори», но не заповедь его держала. Что-то предостерегало: если он взойдет к ней насильно, то все Дело его, государево, рассыпется прахом. Ростов ему не простит.

Если долго стоять, закинув голову, то ночь звездная начинала плыть по кругу гигантским колесом, а все земное и сам он становилось лишним. Он стоял один в саду, схватившись за

сук яблони. Травы обвяли, вымокли, перебродившим вином тянуло от земли. Все ему удавалось, а это – непреодолимо. Вот так, запрокинувшись, хорошо было бы умереть здесь вместе с ней. Чисто и спокойно. Ведь ничего не осталось. Вчера тайный гонец от Романца, который, как простой гребец, плыл с караваном Тохты, привез весть, что Кадьяк донес об укреплении Москвы. Каждую ночь можно было ждать теперь зарева в заречье, воя монгольских тысяч.

Уже челядь шепталась по углам; куда-то исчезли купцы, иноземные мастера – фряги, немцы, греки, – забеспокоились, просили грамоты на выезд, по Владимирской и Рязанской дорогам тянулись ватаги бродяг – уже не раз разоренные смерды подавались вглубь, ближе к северным глухоманям. Юрий заперся и пил, на все отвечал брату: «Погоди, не твой Переяславль под опалой».

В церквах было полно, народ стоял сурово, молча, бабы боялись голосить, а когда читали молитву: «Погуби Крестом Твоим борющия нас, да уразумеют, како может православных вера…», вся церковь с одним трудным вздохом опускалась на колени. Иван тоже стоял со всеми, но молиться не мог: нельзя же было молиться о гибели этих церквей и людей, чтобы он мог бежать с Ольгой в Литву. Иногда он размышлял, не сошел ли он с ума, он исследовал себя, но не находил признаков, хотя понимал, что мысли его расшатались в самом корне. Иногда он думал, что их с Ольгой околдовали зельем: это все объясняло. Но кому это понадобилось? Все, даже Юрий, исповедовались и причастились, но он не стал: он не чувствовал греха, хотя желание его называлось грехом, и он не знал, что сказать на исповеди.

Ночные выси молчали отрешенно, холод охватывал уже всю спину, постукивали зубы. Иван опустил голову, побрел в дом, оттягивая голые ветки.

Собачий захлебывающийся вопль остановил его. Голосили в несколько голосов со стороны ханского двора: «Аааа-ля-ля-ля-ааа-а!» – а потом удары бубна и опять жалобное причитание азиатского хора. Вверху осветились ветки яблонь: у баскака жгли огонь. Иван бросился бегом. Двор наполнялся людьми, воины опоясывались на ходу, все смотрели в одну сторону.

– Кольчугу, коня! – крикнул Иван, задыхаясь.

Он испытывал радость: все-таки сеча – это выход. Когда, обрывая завязки, он с помощью отроков натягивал через голову холодную кольчугу, издали донесло разноголосый хриплый рев монгольских труб.

Юрий был уже на стенах. За тыном ханского двора жгли костры, смятенно кружились тени, но вокруг города и за рекой все было темно, пусто. Братья спустились в город, чтобы спросить у Кадьяка, что за переполох. Но двор баскака был на запоре, монгольская стража никого не подпускала к воротам – натягивала огромные луки, а из-за тына все также голосили, били в бубны. Перед воротами торчали два копья, обернутые черным войлоком – знак болезни хозяина дома. Но к чему такой шум? Может, это Кадьяк своим за рекой знак подает? Правда, с дальних застав – из Данилова, Андроньева, Савина – никаких вестей не поступало.

На всякий случай разделили ночь на смены, вывели на стены двойные караулы. Юрий остался бодрствовать до первых петухов. Иван, не раздеваясь, лег на постель, попытался думать, не смог: мысли черными жучками разбегались по малиновому шелку на сундуке. Он долго разглядывал ненавистные зеленоватые пиалы, подумал: «Прикажу завтра убрать» – и заснул.

Он проснулся от толчка. В сером рассвете наклонялось над ним серое лицо Юрия – глаза косили, рот недоуменно сжат. Иван с трудом вспомнил, что кто-то только что сказал ему: «Тохта умер!» Но это было во сне.

– Что? – спросил он и сел.

– Тохта умер! – повторил Юрий.

Иван сидел и смотрел на серое лицо, бессильно пытаясь представить себе невозможное.

Тохта, великий хан Золотоордынский, сын Менгу-Тимура, сына Гутукана, сына Батыя, властитель народов, глава Улуса Джучиева, непобедимый, богохранимый, умер во всей своей

страшной славе, не доехав десяти верст до Владимира, где ему готовилась торжественная встреча от всех русских князей.

Двадцать лет правил этот болезненно недоверчивый монгол, и все, кто жил под его властью, привыкли, что это будет всегда. Я, ты, он, они – все могли умереть и умирали, но не Тохта. Он был слишком хитер и всевластен для этого, он обманывал всегда и всех безошибочно.

Хан Ногай разделил Улус и посадил его в Сарае на Волге, а себе взял донские и кубанские степи. И многие тайно радовались, что Орда разделилась, хотя для Руси это было незаметно: Тохта начал с того, что истребил своих племянников – Телегубу и Алгула – и сжег четырнадцать русских городов. Потом наступило затишье. Семь лет дремал Тохта, и многие думали, что он заснул в Сарае, в том числе и Ногай, который ставил южных князей, подписывал ярлыки и воевал с ханом Абагу на Тереке. Но Тохта не спал, он натравил на Ногая все азиатское низовье, послал на него войска своих данников и разбил Ногая. Никита Бурый – из ростовских младших княжичей – срубил в битве голову Ногаю и принес Тохте. Но Тохта велел казнить Никиту, ибо он посмел умертвить такого «великого по сану человека, как Ногай». Эти слова хана запомнили все, с этого началось его величие: никто не мог его разгадать.

Москвичи, которые тайно тяготели к Ногаю, боялись Тохты больше других. Поэтому Даниил, а потом Юрий не жалели ему даров и славословий. Однако великое княжение в 1304 году Тохта отдал по старшинству Михаилу Тверскому. Правда, это ничего не значило: для власти больного старика не было препятствий. Что можно предугадать? В этой бритой голове за недовольным водянистым личиком могла возникнуть любая кровавая похоть. И не было сомнений, что ее выполнят и даже прославят как подвиг.

Но вот он лежит в черной юрте, в чужой земле, окоченевший, уже тронутый синими пятнами. Даже то место, где его зароют, по обычаю монголов ископытят табунами, и оно никому не будет известно. Однако и мертвый, он еще жил в суеверном страхе тысяч людей, которые привыкли к этому страху за двадцать лет и не умели без него мыслить и действовать. Может быть, и смерть его была лишь хитростью, и всех, кто обрадуется, он, оживленный бесами, встанет и покарает. А хуже всего было татарам: они не знали, кому теперь поклоняться.

Днем и ночью из двора Кадьяка доносились охрипшие вопли шаманов, простой народ растерянно толкался в проулках и на пристанях, а князья совещались.

Юрий был доволен: кто бы ни был – хуже Тохты не будет. Иван замкнуто молчал, он ничего не мог посоветовать, но и в Переяславль не уезжал. Так прошел август и начался сентябрь.

– Кого ж выберут? – гадал Юрий, шагая по палате.

Братья сидели одни. Стол замусорен объедками, на скатерти – пятна.

– Может, Иль-Басмыша, сына Булучин, а может, Балуша? Балуша я дарил на всякий случай, а Иль-Басмыша – нет. Но хрен с ним. Ха! Теперь Михаилу опять за ярлыком ехать, задницы лизать!

Он замолчал, сел, уставился в стену. Зрачки сошлись, чуть закосили, и гладкий лоб стал незаметно розоветь. Он прислушивался к проснувшемуся желанию, оно шевелилось, ощупывало ходы, но он не подгонял его, а слушал, как оно растет, убирал помехи, расчищал ему извилистый путь в темноте подсознания. С этого момента он становился хитрым, ласковым, жестоким, красноречивым – любым, только бы насытить драгоценное желание. Даже себе во вред. И хотя часто он не мог назвать желание точным словом, но знал, что без желания сам он – просто сонная, равнодушная вещь; он не хотел быть вещью: это хуже, чем быть лошадью или собакой.

Иван следил, как розовеет сытое лицо Юрия, а зрачки наполняются смыслом.

– Федор наговорит с три короба, а исполнит ли? – сказал Иван наугад и увидел, что попал.

– Ты его не знаешь. – Юрий недовольно оттопырил губы. – Он за Ржев душу продаст…

– Сейчас не время…

Лоб у Юрия набухал упрямством, ноздри расширились.

– Самое время.

– Нет, новый хан спервоначала всегда закон чтит.

– Меня новгородцы давно звали. Что ж, что новый!

– Погоди, пока не выберут. – Но Иван видел, что Юрия сейчас не отговоришь.

– И Торжок поднимем. А из Клина я их выбью сразу…

– Михайло пожалуется. Ты туда, а он – сюда. Да с татарами.

Ивану не хотелось уговаривать, он не подбирал слов.

– Михайло! – Юрий поднял голову, на переносье врезалась морщинка. – Ха! Он сюда уже пытался… Не бойсь – и суздальцы, и новгородцы, и мы… Михайло!

Иван понял, что только напортил.

– Ну, смотри: ты старший, – сказал он устало. – Голова-то одна у каждого.

Юрий пригладил белесые волосы, покривил губы.

– Ты когда в Переяславль-то едешь? – спросил он небрежно.

Это был уже прямой намек.

– Да хоть сегодня: для тебя же и сидел. – Иван встал. – Пойду княжне откланяюсь и – домой.

Он помедлил, но Юрий не ответил. Он сидел все так же, развалясь, уставясь в одну точку, и Иван почувствовал, что брат уже выкинул его из головы.

«Втемяшилось! И откуда в нем такое зло на Михайлу? Разъярит нового хана – и Москве не бывать. И Ольга пропадет тут с ними. Он-то бежит в Новгород, а ее бросит. И чего я с ним связался, с одержимым!»

Но Иван знал, что никогда с Юрием не развяжется. «Разве если Ольга захочет. Нет, она… Но сказать ей надо. Надо».

Только когда оседлали и запрягли, увязали в тюки одежу, сосчитали людей и проверили припасы и оружие, Иван Данилович в дорожном опашне поверх кольчуги и шлема, в высоких сапогах пошел через сад к Ольге.

Он решительно шагал по рыхлой земле между облетевшими яблонями. Вечерело, и земля пропиталась розовато-бурым свечением, далеко, пусто, было видно через серые кривые стволы, малиннику забора почернел, оголился прутьями. Что скажет Ольга? После случая со Святославом она не говорила с ним ни о чем. Хотя Святослава Юрий перевез в Коломну, а сказал ей, что выпустил, но она могла узнать правду. На скрипучих ступенях галерейки Иван замедлил шаги. От деревянных половиц пахло сыростью, на рогожный половик нанесли глины, в углу в коробах белели яблоки. Ему пришлось стучать два раза.

Он стоял перед ней близко и говорил убедительно, а она странно смотрела исподлобья и не слушала. Он замолчал, но она не ответила на вопрос.

– Езжай, княжна, в Ростов, – повторил Иван. – К отцу. Здесь худо будет скоро… Хочешь, я тебя до Переяславля провожу? А там охрану дам. Я вот еду… – закончил он как-то беспомощно: нет, видно, не простила она ему Святослава – молчит.

– Никуда ты, Иван, не поедешь, – сказала она и улыбнулась – словно вся горница на миг зазолотилась и погасла.

– Почему?

– Романец приехал.

– Ну и что? – Но он уже понял, что сегодня не уедет. – Ты-то поедешь со мной?

Она опустила глаза, сурово помолчала. «Может, она и не улыбалась?»

– Юрий Романца слушает, но и тебя тоже. – Она подняла глаза. – Ты, Иван, многое можешь…

«Про что она так сказала?» Он отвечал рассеянно – глаза ее отвлекали.

– Юрий себя слушает больше всех… Но ты поедешь через Переяславль? Я попробую его уговорить. Он на меня за это зол, да и я вполсилы отговаривал: Новгород хочет на Тверь двинуть.

Он испугался того, что сказал, – государевы тайны были безгласны для Ивана всегда. Безжалостное Дело подслушивало, подглядывало, могло мимоходом и раздавить. Но и она это знала. Порозовело маленькое ухо, шея, глаза потеплели благодарностью.

– Ты мне всегда говори, Иван, – тихо сказала она, помолчала, прислушалась к себе, повторила одними губами: – Иван… – И совсем смутилась.

У него перехватило горло:

– Ольга, о Господи!

Но она уже вышла.

Теперь он стал самим собой – расчетливым, твердым, скрытным, но уже только для нее. Теперь надо было найти предлог остаться без позору. „Пойду проститься, а там дело покажет…“

Но к Юрию не пускали: два могучих мерянина-телохранителя стояли у двери, опираясь на секиры. Иван сдвинул брови.

– И меня не велено? – громко спросил он.

Меряне не шевельнулись, тупо смотрели мимо. Иван усмехнулся, оттолкнул их, со всей силы ударил ногой в дверь: гул пошел по переходам. Один вцепился ему в плащ, другой замахнулся. Иван рванулся, отлетела на пол застежка, упал плащ.

– Руби! – сказал он в бычьи налившиеся глаза, продолжая улыбаться. – Руби – не узнал?!

Секира остановилась, все остановилось, кроме шумного трудного дыхания. Из дверей высунулась чернявая голова.

– Чего тут за шум?

– Романец! Это что ж у вас? А? – Иван показал на сорванный плащ. – Скажи Юрию – ноги моей в Москве не будет! – И, не дожидаясь ответа, круто вышел.

Он не спеша садился в седло перед главным крыльцом, ожидая рассчитанного. И действительно, когда подбирал поводья, со ступенек скатился ближний отрок Юрия, схватился за стремя, стал умолять:

– Погоди, Иван Данилович, постой, князь бьет челом, просит зайти к нему тотчас.

Иван подумал.

– С коня не сойду, пока не выдаст мне тех мерян головой. Ступай – подожду.

На крыльце толпились дети боярские, стража, челядь. Люди Ивана сидели в седлах прямо, напряженно сжимали копья, иные побледнели. Солнце зашло, но за шатром Архангела Михаила небо еще чисто и холодно догорало.

Мерян вывели со скрученными локтями, ткнули на колени перед копытами коня. Иван долго разглядывал их толстые затылки, молчал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.